

ИЗДАНИЕ КРОНШТАДТСКАГО СОВѢТА РАБОЧ. И СОЛД. ДЕЛУТАТОВЪ.

Кронштадтъ

въ 1906 году.

(Воспоминанія революціонерки)

Ю. ЗУБЕЛЕВИЧ



Часть I-я.

Издание Совѣта Рабоч. и Солдат. Деп. г. Кронштадта.

6

ИЗ КНИГ

Все
такъ и послѣдующія
г. боржно собирала

КРОНШТАДТЬ.

ВОСПОМИНАНІЯ РЕВОЛЮЦІОНЕРКИ.

1906 годъ.

Ю. ЗУБЕЛЕВИЧЪ (даша).

Часть I.



Типографія Союза Крестьянскихъ Землячествъ (Крон. Вѣстн.).

4157
106.
К

И

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Движимая глубокимъ чувствомъ любви и уваженія къ старымъ борцамъ—сопротивникамъ, чувствомъ преклоненія и благодарности за тѣ неизгладимыя свѣтлыя переживанія, которыя дали они мнѣ, я приложила всѣ усилия, чтобы собрать все, что касается какъ самаго восстанія, какъ предшествующаго времени подготовки, такъ и послѣдующей полосы царскихъ звѣрскихъ расправъ; бережно собирала всѣ детали о казненныхъ, стараясь вполнѣ обрисовать ту картину морального подъема, ту страстную жажду служенія народу, которая охватила широкія массы въ 1906 году.

Не моему неопытному и неодаренному перу было браться за подобный трудъ. Не разъ въ отчаяніи я бросала его, боясь исказить или изсушить всю картину, величие которой не поддавалось моему описанію. Но мысль о замурованныхъ товарищахъ по тюрьмамъ и каторгамъ по всей необъятной Россіи, ихъ просьбы и завѣщанія описать столь дорогое для нихъ прошлое для поученія потомству, заставляли меня устыдиться своего малодушія. А тутъ еще помочь со стороны товарищей какъ моральная, такъ и фактическая, которая приходила такъ всегда кстати. Какъ учесть ту пользу, которую внесъ въ мой трудъ каждый изъ нихъ! Но имена В. М. Чернова, И. Е. Вольнаго, Н. С. Климовой я должна отмѣтить особо—такъ многимъ эта работа обязана имъ; первому — какъ незамѣнному редактору всего труда, а двумъ послѣднимъ—какъ литераторамъ помогшимъ мнѣ въ обработкѣ материала.

Много пробѣловъ, въ частностяхъ б. м. даже неправильностей, много несовершенствъ въ этомъ изданіи. Но вѣдь и въ такомъ несовершенномъ видѣ книга можетъ послужить канвой для будущаго историка; вѣдь со всѣми ея недочетами она сможетъ подтолкнуть другихъ участниковъ для написанія своихъ воспоминаній б. м. болѣе удачныхъ и цѣнныхъ.

Вѣдь и при всѣхъ своихъ несовершенствахъ она сможетъ вызвать вздохъ облегченія у товарищей участниковъ восстанія, живущихъ вдали отъ друзей, закинутыхъ въ глуши при мысли, что лучшіе завѣты прошлаго нашли путь связаться съ настоящимъ, а черезъ настоящее—отбросить свой отблескъ и на будущее.

И если чтеніе этой книги заставитъ читателя глубже вникнуть въ происходящее, и горячій порывъ охватить его душу, буду считать свою задачу выполненной.

Авторъ.

Весь чистый сборъ отъ изданія поступить въ фондъ по сооруженію памятника павшимъ борцамъ за Свободу въ Кронштадтѣ въ 1906 г.



21631 № 7

ПР 1945 Г.

ГЛАВА I.

Разгулявшаяся стихія.

Какъ сейчасть помню этотъ день. Высокая, чистая, хорошо убранная комната въ домѣ одного «сочувствующихъ» нашему дѣлу. Въ ней набилось болѣе 30 человѣкъ. Отовсюду глядять необычныя для такой обстановки, грубыя, загорѣлые лица. Это—матросы, прибывши изъ Кронштадта къ намъ въ Петербургъ искать интеллигентовъ, которые помогли бы имъ организоваться для революціи и руководили бы ими.

Эти люди уже приняли тюремное крещеніе. Ихъ судили по дѣлу о беспорядочномъ бунтѣ, который стихійно вспыхнулъ въ Кронштадтѣ осенью 1905 года и выродился къ ужасу болѣе сознательныхъ въ нелѣпый, дикий, пьяный погромъ. Кошмаръ этого погрома тяготѣетъ надъ ихъ умами, и они упорно изъ него исходятъ и къ нему возвращаются во всѣхъ своихъ разговорахъ.

— Вы хотите знать, какъ и почему все это вышло?— какъ бы въ раздумыи переспрашиваетъ Калмаковъ, маленький матросъ съ упорнымъ взглядомъ тревожныхъ, печальныхъ глазъ.— Да какъ вамъ сказать? Перво-наперво война... Потомъ манифестъ о свободахъ... Митинги, на которые ходили прямо толпами... Вліянія неблагонадежныхъ, которыхъ привозили къ намъ изъ другихъ гарнизоновъ вродѣ какъ въ ссылку... Такое время было, что не только съ нами, кто посознательнѣе, но и со всей массой словно что сдѣлалось: тревога какая-то, беспокойство... такъ и позывало чѣмъ-нибудь проявить себя, разбить дисциплину проклятую... Дома терпимости почитай каждый день громили... И вотъ, однажды вѣгаєтъ къ намъ, въ морскіе экипажи, рота пѣхотинцевъ съ фельдфебелемъ во главѣ—и кричать:

— Свобода! Долой дисциплину!

Зачѣмъ? Почему? По какому слушаю? И посейчасъ толкомъ не извѣстно. Изъ за недовольства писчей, кажется. Ну, разумѣется, тотчасъ тревога. Ихъ заарестовали и по-

везли на форты. Съ этого все и пошло. «Заступитесь, товарищи! За свободу страдаемъ!»—закричали они изъ оконъ вагона. Услышали матросы, окружили вагонъ. «Ура! На помощь! Не выдавать товарищай!»—«Не выдадимъ!» Поднялась свалка. Двое изъ арестованныхъ въ суматохѣ скрылись. Конвой—стрѣлять. Кое-кого поранили, одного изъ отбивавшихъ убили на смерть. Вѣсть объ этомъ какъ по безпроволочному телеграфу облетѣла весь городъ. Матросы высипали на улицы, наводнили площади. Только и слышно: «Братцы! Нашихъ бьютъ! Къ оружію! Мы имъ покажемъ, какъ въ насъ стрѣлять!» Словно кто головню въ пороховой погребъ подбросилъ.

Вспыхнулъ сразу и нашъ седьмой экипажъ. «Подымайся, ребята! Выходи на улицу! Свобода!» Я было ихъ уговаривать: «Братцы! Еще нѣтъ изъ центра приказа возставать! Все погубите, если теперь начнете. Васъ нарочно сбиваются недруги ваши. Не слушайте ихъ, не поддавайтесь обману!»—А они на меня: «Ага! проповѣдывать—такъ ты первый! А какъ до дѣла дошло, такъ и на пятнью! Нѣтъ, братъ, шалишь, не выпустимъ. Веди, такой-сякой!» И штыки на меня наставляютъ.

Вижу никакого сладу нѣту. «Ладно, говорю, только вотъ сбѣгаю за однимъ штатскимъ, тутъ по близости. Съ головой парень, научить, что дѣлать.»—«На кой, кричать, бѣсь дался намъ твой штатскій! Знаемъ, братъ, улизнуть хочешь. А это видалъ?» И опять штыками грозятся. Совсѣмъ, какъ есть, темный народъ! А вѣдь нашъ экипажъ, почитай, самый сознательный былъ. Авраль форменный поднялся. На дворъ уже вышли. Палить зря по воздуху. Галдѣжъ, сумятица. Рядомъ, въ четвертомъ, то же самое. Нечего дѣлать, соединиль всѣхъ, построилъ. «Веди—кричатъ,—къ артиллеристамъ!» Повель.

Дошли по Соборной до угла Павловской. Еще пошли... Вдругъ изъ оконъ Сѣверныхъ казармъ выстрѣлы на насъ посыпались. Раненные валятся, убитые. Товарищъ Сахаровъ—первый палъ мертвымъ. Крики, стоны... Остановились наши. А потомъ вразсыпную, кто куда. Иные и винтовки побросали.

Разбѣжались по городу. А около матросовъ уже посачи (хулиганы) увидались, подбиваются напасть на казенки и на сѣѣстнѣя лавки. Въ одномъ мѣстѣ, слышу, посачъ ораторствуетъ: «Ну, давайте, братцы, хоть одну сѣѣстную разобъемъ, закусокъ достанемъ. Все равно, грабители—купцы отъ насъ наживаются! Наше добро, братцы, наша кровь!»—«Ребята,—кричать наши,—шивай (бей) чертову сквально! Чего она смущаетъ честной народъ!» Набросились на посача,—еле ноги уволокъ.

А за угломъ ужъ, слышимъ, стекла бьютъ, ставни

ломаютъ. Громятъ лавку. А подальше монополька уже разграблена. Водка льется, море разливанное. И посачи и нашъ братъ, уже натрескавшись, кричатъ: «Бей, пей! Одинъ отвѣтъ! Не жалѣй Романовскаго добра!» Стали мы сѣѣстную лавку отстаивать, надавили на пьяныхъ. А хозяинъ струсилъ, изъ окна товаръ свой выкидываетъ, бутылки съ виномъ, бараки, колбасу. Народъ внизу ловитъ. Свалка, крики, визгъ, пьяный хохотъ.

Какъ увидалъ я, что матросъ къ водкѣ припалъ, всосался въ нее, подлую,—сразу поняль—конецъ всему. А тутъ и пожары начались,—съ пьяныхъ глазъ поджигать стали.

— Да, ужъ водка, это пропащее дѣло,—подтверждаетъ какой-то другой матросъ,—и сейчасъ же эхомъ отзываются остальные: «Все она, подлая! Первымъ дѣломъ всю ее въ море выльемъ, какъ снова начинать доведется!

— Туда ее!

Снова и снова возвращаются къ бунту. И мало-помалу передъ нами, слушателями, встаетъ во весь ростъ эта жуткая картина разбушевавшейся стихіи.

Головня, подброшенная въ пороховой складъ. Что значила эта выходка со стороны роты пѣхотинцевъ съ фельдфебелемъ во главѣ? Прорвалось накопившееся подъ вліяніемъ необычайныхъ событий возбужденіе? Или то была сознательная провокациѣ? Разобрать мудрено. Зато все остальное такъ понятно, такъ естественно вытекаетъ изъ этого начала.

Возбужденные сценой ареста, стрѣльбой и вѣстями, что «нашихъ бьютъ», матросы врываются въ свои экипажи (казармы) и вооружаются. Офицеры—на-утекъ. Матросы вслѣдъ имъ гогочутъ и улюлюкаютъ. Кое-кто кидается къ офицерскимъ квартирамъ и громитъ ихъ. Остальные валять толпой на улицу, смыкаются съ городскими подонками,—и вскорѣ сами превращаются въ настоящихъ хулигановъ.

Я живо представляю себѣ этотъ переворотъ въ душѣ простого малосознательного матроса. Такъ это необычно и такъ, должно быть, неудержимо притягательно—вырываться, быть—можетъ, въ первый разъ въ жизни, изъ крѣпкихъ желѣзныхъ рамокъ казарменного режима,—и дать полную волю взбудораженнымъ, разошедшися страстиамъ. Безъ думъ, безъ размышлений, безъ страха и загадываній въ будущее,—просто отдаться клокочущему чувству мести, упиться безграничной свободой, сознавать себя стихійной, безудержной силой. Стрѣлять, убивая этимъ послѣднюю искру смѣлости въ офицерахъ; рвать, ломать, разрушать все кругомъ; пить, пѣть, кричать безцѣльно, бѣжать кудато; встать въ окнѣ монопольки и бросать съ высоты бутыл-

ку за бутылкой, бросать съ ожесточениемъ, съ радостью, съ ненасытнымъ весельемъ, и слышать, какъ дребезжитъ и звенить бьющееся стекло, или видѣть, какъ ловко подхватываются бутылки протянувшимся внизу жадныя руки.

Что имъ, этимъ обезумѣвшимъ отъ вина и возбужденія, что имъ за дѣло, что революція ими опозорена, обезвѣщена, что лозунгъ свободы затоптанъ ими въ грязь?

Такія думы тревожатъ лишь Калмакова и его немногочисленныхъ друзей. Чувствуя свое безсиліе, они кидаются за подкрѣпленіями. Увы, безуспѣшно! Къ минерамъ не проберешься, потому что разведенъ подъемный мостъ. На форты, къ артиллеристамъ, не проѣдешь, такъ какъ уведены катера. Арсеналь занять сильной стражей. Этотъ рядъ неудачъ наполняетъ ихъ души отчаяніемъ. Но они все-таки пытаются то тутъ, то тамъ отвлечь темныхъ людей отъ пьяного дѣла. Только—что могутъ они, ничтожная горсточка!

— Что ты зря палишь? Только на вольныхъ (штатскихъ) страхъ наводишь.

— А ежели мнѣ эдакъ нддрравится! Вотъ хочу у Ваньки Кронштадтскаго часы съ собора сшибить.

И матроcъ продолжаетъ стрѣлять, отмахнувшись отъ непрошенныхъ указчиковъ.

А что же власти, жрецы дисциплины и блюстители порядка? Безъ труда помѣшавъ всѣмъ попыткамъ сознательныхъ, они пасуютъ передъ возбужденной толпой. Въ одномъ мѣстѣ показались было драгуны, но встрѣченные гиканьемъ и градомъ камней, пришпорили лошадей и скрылись. Боевые полуроты, на обязанности которыхъ слѣдить за порядкомъ въ городѣ, чувствуютъ свое безсиліе и держатся въ сторонѣ отъ бунтующихъ улицъ. Высшее начальство засѣдаетъ гдѣ-то въ безопасномъ мѣстѣ и требуетъ войскъ изъ Питера.

Никто и ничто не мѣшаетъ пока громиламъ. Напротивъ, все кругомъ какъ бы поощряетъ ихъ; и эта угодливость напуганныхъ обывателей, и эти возбуждающіе крики и призывы, и весь этотъ пьянящий хаосъ и шумъ. И бушуетъ стихія на полномъ просторѣ больше двухъ сутокъ, почти до полнаго насыщенія.

У татарскихъ рядовъ погромъ въ полномъ разгарѣ. Солдаты, матроcы, хулиганы, женщины—всѣ смѣшались въ одну кучу. Одинъ громила напяливаетъ новое платье. Другой, не торопясь, складываетъ награбленныя вещи въ щегольской чемоданъ. Подъ ногами валяются куски разорванной матеріи. Летятъ пустыя жестянки отъ консервовъ. Закинувъ голову, матроcъ сосетъ изъ бутылки дорогую мадеру. Нищенка прячетъ въ котомку золотыя вещи, которыя ей передаетъ торопливо посачъ. Въ воздухѣ стоять

гуль отъ криковъ, хохота, свиста, отъ падающихъ горящихъ балокъ неподалеку. Клубится и стелется дымъ; пламя кидаетъ зловѣщіе отблески.

У музыкального магазина граммофонъ играетъ арію Ленскаго. Меланхолическая музыка Чайковскаго то пропадаетъ, то вновь появляется среди общаго шума. Вокругъ разсѣлись кучкой матроcы. Блаженныя, пьяные улыбки. По рукамъ ходитъ бутылка «очищенной». Одинъ изъ слушателей начинаетъ подпѣвать:

«Ахъ, зачѣмъ эта ночь
Такъ была хороша!»

— Эй, голова! Да ты совсѣмъ не ту ноту тянемъ!

— Буде!—бормочеть въ отвѣтъ пѣвецъ:—Было время—мы имъ подтягивали, а теперь пускай-ка они попадаютъ намъ въ ноту!

Поодаль матроcъ обнимаетъ солдата, мѣняясь съ нимъ скрипкой на гитару. Послѣ мѣны каждый ставить могарычъ, пютъ и обнимаются.—Братья мы теперь. Сухопутный ли, флотскій ли,—все едино. Отъ начальства-то одинако терпимъ.—У васъ ли, у насъ ли начальство,—все едино сволочь на сволочи!

Въ результатѣ бунта (по даннымъ обвинительного акта): убитыхъ и умершихъ отъ ранъ 24 чел., раненыхъ—74, сожженныхъ—2 камен. и 2 дерев. дома. Сожжено и разграблено—120 торг. и промышл. заведеній и нѣсколько частныхъ квартиръ.

Мелкія поврежденія въ Морскомъ Собраніи и въ библиотекѣ, въ двухъ офицерскихъ флигеляхъ и въ нѣсколькихъ казармахъ.

Пришли въ себя власти, заняли свои мѣста бѣжаліе было офицеры, вылезли изъ своихъ угловъ и «шкуры» (сверхсрочные унтеръ-офицеры).

Пришли въ себя и матроcы, запертые въ казармахъ, въ тюрмахъ и на фортахъ. Одни съ похмѣлья протирали глаза. Другіе метались по камерамъ, какъ раненые звѣри, хватаясь за голову и тщетно стараясь понять,—какъ же это такъ вышло? какъ они, сознательные, не сумѣли во время сдержать стихію? И только ничѣмъ неисправимые балагуры и весельчаки упражняли свое остроуміе, безъ конца черпая для него пищу въ только что минувшихъ событияхъ.

Съ какимъ жаднымъ, все растущимъ интересомъ вслушивалась я въ эти матроскія рѣчи, пересыпанныя шутками и прибаутками, сверкающія, словно самоцвѣтные камни, яркими образами и неожиданными сравненіями! Словно бурные горные ручьи, отдѣльные короткіе рассказы и замѣчанія встрѣчались перекрецивались, сливаясь въ

общий потокъ, еще болѣе бурлящій то веселымъ юморомъ, то гнѣвной, сдержанной силой.

Яркой радугой, широко обнявшей весь горизонтъ, рисовалось для меня въ этихъ рѣчахъ будущее, когда осознавшая себя матросская и солдатская сила поможетъ русскому народу проложить себѣ широкую дорогу впередъ, къ свѣтлымъ перспективамъ свободной жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ слышались въ нихъ далекіе раскаты грома, зловѣщіе предвестники грозы, какъ будто надвигалась тяжелая свинцовая туча озлобленія, прорѣзаясь зарницами гнѣва и зрѣющей мести—безжалостной и безпощадной.

Я вижу, какъ стянуты мускулы на лицѣ Калмакова, какъ сведены его брови. Жжетъ его душу позоръ, покрывшій матроса, жжетъ мысль о томъ, во что выродилось святое дѣло, о которомъ онъ такъ долго и такъ сосредоточенно мечталъ... Скорбѣ, скорбѣ, нужно поправить дѣло, смыть нестерпимый позоръ!

ГЛАВА II.

На перепутьи.

Это свиданіе съ матросами, эти разговоры, эти рассказы, — и въ заключеніе, — ихъ просыбы, ихъ мольбы прийти къ нимъ на помощь— словно перевернули меня.

Такъ живо представилось мнѣ, что народъ, это—былинный Илья Муромецъ, сиднемъ просидѣвшій не «тридцать лѣтъ и три года», а цѣлые вѣка, и ждущій только, чтобы прохожій сказалъ ему вѣщее слово: «Встань, подымись, разогни свою мощную спину, испробуй непочатую богатырскую силу и убѣдись, что ты все можешь, если захочешь!»

Что такое я, что такое кучка товарищій, отдавшихся дѣлу свободы и соціализма, что всѣ мы въ сравненіи съ этимъ гигантамъ, не сознавающимъ своей силы? Ничто... И все же онъ молитъ насъ о помощи, какъ левъ, попавшій въ тенета, молилъ ничтожную полевую мышку перегрызть сковывавшіе его путы. Да, онъ бѣтъся въ тенетахъ незнанія, и мы, только, мы, на чью долю выпало счастье припасть къ родникамъ науки, подойти къ источникамъ свѣта человѣческаго разума, можемъ помочь ему. И мы должны. Да, должны. Ибо если не мы, то кто же? И если не теперь, то когда же?

И еще вспомнилась мнѣ старая сказка о спящемъ царевичѣ въ огромномъ заколдованнымъ царствѣ. Надѣнимъ тяготѣютъ чары, въ его волосы воткнута волшебная булавка. Надо только пробраться къ нему черезъ всѣ

препятствія—военное положеніе въ Кронштадтѣ, полицейскую охрану, туши соглядатаевъ и шпионовъ—и вынуть эту злую булавку. Царевичъ тогда проснется и самъ раздѣляется со своими ворогами и со всѣмъ ихъ злымъ волшебствомъ. Темнота, отъ которой страдаютъ, на которую жалуются кронштадтскіе матросы,—вотъ она, роковая булавка!

Но вмѣстѣ съ тѣмъ пришли на память и старые споры съ товарищами, студентомъ Дмитріемъ и рабочимъ Никитой, которые еще раньше убѣждали меня ѿхать съ ними въ Кронштадтѣ. Въ ихъ рѣчахъ Кронштадтъ всегда выплывалъ изъ тумана обвѣянный чѣмъ-то мистическимъ—могучій, величественный, загадочный. Въ ихъ отношеніи къ нему было трогательное сочетаніе чисто материнской нѣжности и почти религіозныя обожанія. Свой энтузіазмъ они пытались вдохнуть въ меня.

— Доминирующее положеніе... Опорный пунктъ для возставшаго флота... Ключъ къ столицѣ... Близость къ зимней и лѣтней резиденціямъ царя... Ультимативное требованіе созыва Учредительного Собранія, предъявленное властнымъ голосомъ двѣнадцати-дюймовыхъ морскихъ орудій...

Воскресаютъ въ головѣ эти обрывки фразъ, вмѣстѣ со всѣми этими «тактическими, стратегическими» и еще какими-то военными терминами, не до конца понятными и оттого еще болѣе внушительными и грозными.

Тогда я всѣмъ своимъ существомъ противилась, упиралась передъ этими соблазнительными перспективами, раскрывшими настежь двери—въ который разъ!—радужнымъ надеждамъ и пылкой вѣрѣ. Слишкомъ ужъ устала, истомилась душа отъ неудачъ, отъ гнета всѣхъ кошмаровъ русской жизни—казней, разстрѣловъ, карательныхъ экспедицій, грубыхъ насилий и утонченныхъ звѣрствъ, крови и грязи,—и отъ всей атмосферы случайностей и неожиданностей, безсильными жертвами которыхъ, какъ игрушками капризной стихіи, являлись, казалось, всѣ мы. Терялась вѣра, сила враждебныхъ намъ обстоятельствъ вырастала въ нечто неизмѣримо грозное, огромное,—и мы передъ нею оказывались какими-то карликами, тщетно хватающимися за колеса исторіи, чтобы быть ими раздавленными и отброшенными куда-то въ сторону и лежать тамъ съ перебитымъ спиннымъ хребтомъ въ прахѣ и пыли.

Въ разговорахъ съ Дмитріемъ и Никитой всякий разъ предо мною вставала въ особенности одна картина изъ недавняго прошлаго. Маленький губернскій городъ въ глухой провинціи, куда тоже докатилось, расходясь концентрическими кругами отъ столицѣ, всеобщее волненіе.

Здѣсь творится нѣчто ранѣе неслыханное. Соціалистические ораторы открыто выступаютъ на массовыхъ митингахъ. Чуть не полсотни агитаторовъ разъѣхалось по деревнямъ. Безпрепятственно работаютъ двѣ, даже три соціалистическихъ типографіи, выпуская горы листковъ, которые открыто продаются, раздаются и кипами разсылаются въ деревню. Собирается губернскій съѣздъ Крестьянского Союза. На съѣздѣ являются привѣтственные депутаты отъ солдатъ мѣстного гарнизона, и публично обѣщаютъ поддержать народъ, если понадобится, силою штыковъ.

Какъ хорошо все шло, пока дѣло оставалось въ области словъ! Какъ мощно росло движение! Какимъ энтузіазмомъ горѣли сердца! Какъ властно звучало убѣжденное слово нашихъ ораторовъ, вожаковъ, лидеровъ! Такъ вѣрилось имъ и такъ вѣрилось въ нихъ. Вотъ, казалось, люди, которые знаютъ и цѣль и пути къ ней. Кто имъ не вѣрилъ бы себя всецѣло, кто не пошелъ бы за ними всюду, за ними, кого толпа готова была на рукахъ носить!

И вдругъ... какой страшный, какой подавляющій контрастъ! Отъ словъ вдругъ пришлось перейти къ дѣлу; и перейти въ такой моментъ, когда все ясное вокругъ вдругъ сдѣжалось темнымъ, все понятное—дико безсмысленнымъ, все простое—безконечно сложнымъ. Откуда-то вдругъ надвинулся черный туманъ, темные силы заполонили все. Въ городѣ странная стукотня выстрѣловъ, то и дѣло говорятъ о новыхъ убитыхъ и раненыхъ, пляшутъ передъ глазами эти зловѣщія цифры. И солдаты, тѣ самые солдаты, что два дня тому назадъ клялись въ вѣрности народу,—это они обагряютъ кровью мостовыя площадей и улицъ. А вотъ и толпа. Она по прежнему сильна числомъ, передъ глазами мелькаютъ сотни лицъ. Но какіе же всѣ они другіе! По истинѣ стадо безъ паstryя! Они ищутъ глазами тѣхъ, отъ кого привыкли ждать указаний, и словно молятъ: «Скажите же намъ, что дѣлать! Ведите насъ!»

Вести? Куда? Какъ?.. Они были хорошими провѣдниками съ соціалистической кафедры, бродячими лекторами импровизированного всенародного политического университета—эти ихъ руководители. Но какъ имъ превратиться въ офицеровъ, въ полководцевъ уличного движения? Они умѣли побѣждать темные силы въ словесномъ бою, умѣли двигать аргументы противъ аргументовъ, группировать въ стройные ряды доказательства, бомбардировать горячими, краснорѣчивыми доводами,—но и только. И я помню, какъ чуть не скрежеща зубами отъ безсилія, хватался въ отчаяній за голову человѣкъ, который еще вчера какъ диктаторъ держалъ въ своихъ рукахъ тысячу-

толпу. Въ моментъ дѣйствія онъ оказался неподготовленнымъ, застигнутымъ врасплохъ, банкротомъ,—пусть не злостнымъ, а несчастнымъ банкротомъ, но развѣ это мѣняетъ самый фактъ? И развѣ отъ этого легче толпѣ, которая въ него такъ беспредѣльно вѣрила, и которую онъ, самъ того не желая и не ожидая, такъ жестоко обманулъ?

Холодная дрожь пробѣгала по мнѣ при этихъ воспоминаніяхъ. И я неизмѣнно отвѣчала товарищамъ: «Намъ тѣхать въ крѣпость, въ первоклассную морскую крѣпость? Захватывать ее въ наши слабыя, неопытныя руки? Да что мы понимаемъ въ военномъ дѣлѣ? Куда мы тутъ годимся? Нѣтъ, товарищи, не поѣду я, да и вамъ не совсѣмъ. Брать дѣло не по силамъ—хуже, чѣмъ ошибки; это, быть-можетъ, преступленіе».

И въ самомъ дѣлѣ, ну что можемъ дать мы военнымъ—солдатамъ и матросамъ? Въ рабочихъ кварталахъ мы какъ у себя дома. Рабочее движение имѣть ясныя задачи и перспективы, имѣть и готовые образцы, данные другими, передовыми странами. Тамъ—вѣковѣчная борьба труда съ капиталомъ, о которой говорится въ сотняхъ книгъ, въ тысячахъ журнальныхъ статей. Но военный міръ—развѣ это не совершенно новая, невѣдомая область, со своими особыми условіями, особымъ бытомъ, даже особой психологіей? Одно уже то, что здѣсь имѣешь дѣло съ вооруженными людьми, надъ которыми нависла жестокая дисциплина, и, значитъ, столкновеніе между ними и ею ежеминутно можетъ разразиться бурею кровопролитнаго возстанія,—развѣ это не роковой подводный камень?

Никита злится, что не можетъ никого найти для Кронштадта и всю злость на другихъ вымѣщаетъ на мнѣ. Онъ ворчитъ что-то объ интеллигентахъ, которые умѣютъ только мудрить да критиковатъ и которыхъ надо упрашивать, чтобы они помогли, чѣмъ могутъ «нашему брату, простому человѣку—рабочему, солдату, матросу». Ворчитъ что-то о партіяхъ, которая «умѣютъ разводить словесность, а гдѣ начинается настояще дѣло, тамъ ихъ и нѣтъ». Въ немъ, какъ всегда, когда онъ недоволенъ и хочетъ сорвать на чѣмъ-нибудь сердце, просыпается старое словное отчужденіе «черной кости» отъ «бѣлой», фронтированіе рабочаго противъ интеллигента. Мои сомнѣнія для него не болѣе, какъ простая интеллигентская блажь.

Дмитрій тоже досадуетъ, но у него это выходитъ иначе: онъ пробуетъ подойти мягче, примирительнѣ. Онъ доказываетъ, что наша роль въ Кронштадтѣ будетъ лишь ролью простыхъ помощниковъ. Вопросы о прямой борьбѣ, о подготовкѣ и планѣ возстанія—все это будетъ разрабатываться самими матросами, т. е. самыми развитыми и ин-

теллигентными изъ нихъ. Военное дѣло имъ знакомо,—здѣсь имъ и книги въ руки. Но они нуждаются въ ораторахъ, въ пропагандистахъ, въ книжкахъ, въ людяхъ, умѣюшихъ написать прокламацію, наконецъ, въ людяхъ, вообще знающихъ технику революціоннаго дѣла—надо вѣдь завести конспиративную квартиру, соорудить маленькую типографію, поддерживать связи съ другими городами при помощи всѣхъ этихъ явокъ, паролей, шифровъ для переписки и т. д. и т. д.

Съ доводами Дмитрія нельзѧ было не считаться. Не работа пугала меня. Съ какимъ наслажденiemъ я ушла бы въ нее съ головой, чтобы не думать, не терзаться сомнѣніями и колебаніями. Но вопросъ въ томъ, какъ работать? Кто возьметъ на себя все бремя отвѣтственности, представивъ мнѣ только исполнительную роль, роль чернорабочей въ революції? Кто избавитъ отъ необходимости продумать все самой, отъ начала до конца, чтобы убѣдиться и увѣровать? Никто.

Такъ думалось мнѣ. И я находила въ себѣ каждый разъ достаточно силы, чтобы устоять передъ уговорами Никиты и Дмитрія.

И вотъ это собраніе. Оно сломило всѣ мои сомнѣнія, оно рѣшило мою участіе. Эта бурливая, клокочущая стихія сразу захватила меня. Нельзѧ было не заразиться электричествомъ, исходившимъ изъ этихъ тридцати паръ глазъ. И какихъ глазъ! То дѣтски наивныхъ, широко раскрытыхъ то полныхъ жизнерадостнаго юмора, то упорно сосредоточенныхъ, впивающихся, словно гвозди, глазъ, обращенныхъ на тебя съ надеждой, съ настойчивой просьбой... нѣтъ, съ требованіемъ!

Да, они не просили, они требовали нашей помощи, они почти грозили.

— Ходуномъ все ходить у нась, поймите вы! А ну, если прорвется снова, какъ по осени! Что тогда? И кровь понапрасну прольется, и Кронштадтъ для революціи будетъ потерянъ. Кто же, будетъ въ отвѣтѣ?

— Коли не вы: кто же поможетъ? На то вы и есть ентеллегенты! Вамъ по книжкамъ все видно. А мы развѣ знаемъ, какъ подступиться къ дѣлу, какъ ее, революцію-то устраивать?

— Эхъ-ма! Да что говорить! Большой грѣхъ на свою совѣсть возьмете.

И уже готовы отойти, сумрачные, угрюмые. И вспоминаются мнѣ Некрасовскіе мужики-просители:

И пошли они, солнцемъ палимы,
Повторяя: «Суди, его Богъ!»
Разводя безнадежно руками,

И, покуда я видѣть ихъ могъ,
Съ непокрытыми шли головами...

— Думали, сидючи въ Арестномъ, что всѣ вы, на волѣ, которые сицилисты, заодно, и хоть сейчасъ за народъ въ огонь и въ воду. А нѣ, стало какъ до дѣла доходить, тутъ вѣсъ и не сышешь.

— Видно не жаль имъ нашего брата!..

Какъ устоять передъ этой трагедіей? Что передъ нею моя личная трагедія, моя неувѣренность, мой страхъ передъ отвѣтственностью? И что можетъ быть притягательнѣе, чѣмъ наивная рѣчъ вотъ этого чернаго пречернаго матроса, загорѣлаго, закоптѣлаго,—который съ застѣнчивой и дѣтски довѣрчивой улыбкой дѣлится со мною своимъ восхищеніемъ и своимъ недоумѣніемъ.

— И хорошо же дѣлается, когда про все это такое—такое узнаешь,—таково легко да радостно, словно весь міръ свѣтлѣеть. Мнѣ такъ думается: каждый, коли только ввести его въ это понятіе, сейчасъ же долженъ соціалистомъ задѣлаться, не такъ что-ли?

Я, усмѣхаясь, говорю ему что-то о фабрикантахъ, помѣщикахъ, чиновникахъ, которыхъ голосъ выгоды дѣлаетъ глухими къ правдѣ. Но онъ не вимаєтъ:

— А по моему, они просто проморгали ее, правду-то, не вслушались въ нее ни разу какъ слѣдуетъ. А вотъ только бы сумѣть раскрыть имъ глаза, насторожить ихъ уши,—да какой бы онъ тамъ ни былъ фабрикантъ, либо офицеръ, или хоть самый набольшій изъ министровъ,—противъ настоящей правды никто не устоитъ. Нѣтъ, никакихъ тутъ силъ не хватить. Упрись ка тутъ, пойди-ка противъ сущей-то правды,—да послѣ этого совсѣмъ до конца загрызеть, свѣтъ божій не миль будетъ, и самъ себѣ опротивѣшь! Вотъ только,—и тутъ голосъ его понизился до интимнаго полуслопота,—вотъ только вашего брата должно больше быть, чтобы всѣхъ до просіянія совѣсти довести, чтобы всѣмъ показать все, какъ есть, что и къ чему...

И такимъ-то людямъ подать камень вмѣсто хлѣба? Оттолкнуть протянутую руку? Нѣтъ и нѣтъ! Я чувствовала, что вся моя твердость исчезла, что всѣ мои самыя непоколебимыя рѣшенія куда-то рухнули. И кто осудить меня за это? Какой крѣости долженъ быть человѣкъ, чтобы устоять противъ такихъ рѣчей, противъ этихъ, то довѣрчиво ждущихъ, то настойчиво требующихъ глазъ? Какъ не потянутся къ нимъ всѣми силами—пусть послѣдними силами—души, какъ бы ни была она измучена и усталая?

Да, это сильнѣе всѣхъ моихъ сомнѣній. Они не разсѣяны, но далеко отѣснены. Будь, что будетъ. Я не имѣю права не откликнуться на властный зовъ жизни. Я Ѣду.

ГЛАВА III.

Прыжокъ въ неизвѣстность.

Яркій весенний день. Распускаются тополи. Мягкій, насыщенный смолистымъ ароматомъ воздухъ сладко вливається въ грудь, наполня ѹло ощущенiemъ бодрой радости. Весна принарядила чиновничій городъ; все радостно блеститъ и улыбается, улицы запружены народомъ. Солнце расправило морщины на лицахъ. Ослѣпленные яркимъ свѣтомъ, щурятся и ласково горятъ глаза.

Съ нѣсколькими рублями въ карманѣ, всѣмъ моимъ богатствомъ, уже съ часъ, какъ хожу по толкучкѣ, приглядываясь и прицѣниваясь къ подходящей для меня одеждѣ: въ Кронштадтѣ я должна буду жить подъ видомъ прислуги, въ одной знакомой товарищамъ семье. Къ огорченію старья почти нѣтъ, а новое все дорого. Послѣ отчаянной торговли покупаю наконецъ широкую кофту—«распуштиху» густо розового цвѣта, бѣлый платокъ съ калужскими разводами и бѣлый фартукъ. Потомъ долго стою надъ соблазнительно разложенной синей юбкой: густо набранная, въ поясѣ, широкая, она какъ разъ отвѣчаетъ моимъ цѣлямъ.

Прямо съ базара захожу къ знакомой старушкѣ, моей бывшей хозяйкѣ, маслю деревяннымъ масломъ волосы, зачесываю ихъ туго за уши, свиваю жгутомъ на маковкѣ. Подъ широкую старомодную жакетку набиваю, сколько влѣзетъ, нелегальныхъ книгъ и такимъ образомъ сразу превращаюсь въ толстую бабу.

Появляется въ дверяхъ товарка, живущая у этой же хозяйки. Она иронически оглядываетъ меня со всѣхъ сторонъ:

— Ну скажи, пожалуйста, за какихъ дураковъ принимаешь ты и шпиковъ и всю публику? Не поймутъ они твоего маскарада? Руки, лицо, говорь,—все, все выдаетъ тебя. А въ Кронштадтѣ еще военное положеніе,—значитъ сугубая слѣдка. Да ты и доѣхать не успѣшь, съ парохода снимутъ. Ряженую революціонерку поймали! То-то будетъ потѣха.

Искаженное мукой смотрѣть изъ зеркала мое лицо. А глаза! И это прислуга! Заставляю себя улыбнуться,—фальшивая, жалкая улыбка! Руки вылѣзаютъ изъ поднявшейся на плечахъ отъ книжекъ жакетки. Такъ же несузано торчатъ свернутые на макушкѣ волосы. А какъ имъ надо лежать, не ухватишь. А сердце ноетъ, ноетъ...

Да кто же я наконецъ: глупая фантазерка, или еще того хуже—легкомысленная преступница, играющая чужими жизнями? Вѣдь, проваливаясь въ Кронштадтѣ сама, я неминуемо потяну за собою массу военныхъ, съ которыми буду связана!

Въ отчаяніи опускаюсь на стулъ.

— Да полноте убиваться!—успокаиваетъ старушка хозяйка:—И вовсе даже хорошо,—всамѣлишная прислуга!

Скорѣй, скорѣй на пароходъ! Это питерскія болячки вонзаются въ меня! Море вылѣчить вдохнетъ бодрость, дастъ силы и умѣніе. Скорѣй въ кронштадтъ!

Старушка въ послѣдній разъ заботливо оправляетъ мой костюмъ. Въ ея глазахъ я читаю тайную тревогу, но съ чисто материнской чуткостью она оберегаетъ мой покой и крѣпится. Только при прощаніи не выдерживаетъ: долго крестить меня дрожащей рукой, шепча молитву, а слезы бѣгутъ и бѣгутъ по щекамъ.

И вотъ я уже иду по широкимъ, полнымъ народа улицамъ столицы.

— Колобокъ, колобокъ! Я тебя съѣмъ!—разставивъ короткія руки и широко улыбаясь заросшимъ ртомъ, неожиданно преграждаетъ мнѣ дорогу пожилой подвыпившій рабочій: Тे-те-рушка! Ма-ма-ка!

Молча отстраняю его руки, боясь, какъ бы онъ не нащупалъ книжки подъ кофтой. Полуобернувшись, рабочій грозить мнѣ пальцемъ:

— Я ти, каналюнчикъ, я ти-и! Чѣмъ ти Ванъ Якимычъ не пригожъ? Ну, докажи-ка!

Ближе къ пристани, чаще обгоняютъ извозчики. Обложившись картонками, пакетиками, зонтами, спѣшать дамы. Откинувшись къ спинкѣ сидѣнья и пришурившись, глядять по сторонамъ морскіе офицеры. Какъ и я,—съ узелками подъ мышкой, съ корзинками, мѣшечками, коробками, плетушками,—бѣгутъ мѣщенки и прислуга. Словно вода въ воронку, пестрыми струями всѣ текутъ въ переулокъ, выходящій на набережную.

Вотъ, наконецъ, и пароходъ, небольшой за зиму отремонтированный, блещущій вычищенными мѣдяшками. По сходнямъ взадъ и впередъ шмыгаютъ носильщики. Въ воздухѣ стоитъ разноголосый говоръ, смѣхъ, ругательства.

Чувствую, какъ съ каждымъ шагомъ тяжелѣютъ ноги и кружится голова отъ подступившей къ сердцу тревоги.

Машинально беру билетъ и пробираюсь на палубу. Здѣсь богомольцы и матросы, солдаты, торговки.

Итакъ, все кончено: я єду. Ёду въ страшный Кронштадтъ. Но вѣдь это же безуміе, безуміе!—кричить все во мнѣ. Мнѣ ли, женщинѣ, тамъ мѣсто! Крѣпко ухватываюсь за край лавки, чтобы не рвануться; хочется бѣжать, бѣжать, пока не поздно...

— Эй, подвинь монатки-то, фефела!—кричить мнѣ торговецъ, навьюченный со всѣхъ сторонъ товаромъ:—Иши, разсѣлась съ хламомъ! Барыня, подумаешь.

Давка стоитъ неимовѣрная. Пароходъ пронзительно свиститъ и отчаливаетъ. Съ берега кричатъ, машутъ платками. Какая-то бабенка съ краснымъ носомъ горько плачетъ.

Стою на верхней палубѣ, прощаюсь съ Питеромъ. Бойко бѣжитъ пароходъ, оставляя послѣ себя вспѣненный слѣдъ и чуть замѣтно вздрагивая отъ мѣрного уханья машины. Миновали Васильевскій Островъ, Гавань, Франко-Русскій заводъ. Стало замѣтно свѣжѣе. Вотъ и взморье. Какая ширь впереди! Какъ глубоко и полно здѣсь дышится!

Мои предчувствія не обманули меня: этотъ воздухъ, этотъ просторъ, даже этотъ ритмъ машины словно бальзамъ полили на мои болячки. Что-то радостное уже трепещетъ и рвется изъ глубины души. Нѣть, я не должна поддаваться сомнѣніямъ: не страшенъ Кронштадтъ, не страшно и военное положеніе и, если случится, даже военное возстаніе. Вѣдь я же єду на самую черную, самую неотвѣтственную работу.

Публика уже угомонилась. Тѣсными группами, въ ветхой и пыльной одеждѣ, сидятъ богомольцы. Дальняя дорога разморила кости, сѣрыя сумки съ сухарями оттянули нагруженныя плечи. Широко открытыми, наивными глазами глядятъ на тающій вдали городъ, на пробѣгающія срѣдка пароходы и парусныя лодки. Все имъ ново и дивно. Будеть имъ о чёмъ поразсказать въ долгіе зимніе вечера, когда они вернутся въ свои убогія лачуги, затерянныя въ глухихъ русскихъ лѣсахъ.

Вблизи отъ меня усаживается компанія матросовъ. Всѣ на-веселѣ, перекидываются съ женщинами двусмысленными шутками, подмигиваютъ, глядять вызывающе. Вздыхаю: не такими хотѣлось бы мнѣ видѣть ихъ въ сегодняшній, столь важный для меня день.

Торговецъ, навалившійся на меня съ товаромъ, заговариваетъ со мною. Прислуги мѣщанки пристаютъ къ разговору. Я ликую: эти люди принимаютъ меня за свою, мой маскарадъ не замѣченъ.

Ко мнѣ подлетаетъ, поймавъ мой взглядъ, матросъ-блондинъ, на котораго я залюбовалась—такой удалью и смѣлостью вѣяло отъ его рѣчей, и движений, отъ всей егостройной фигуры.

— Наше вамъ! Ручку, мамзель, пожалуйте! Желаю съ вами знакомство завести.

Чувствую, какъ краска заливаетъ мое лицо. Точно на сценѣ—въ трудной, незнакомой роли, пронизанная десятками испытующихъ взглядовъ. Не знаю, что сказать. Съ усилиемъ подымаю голову. Солнце бѣть въ глаза, заливая морскую ширь золотою рѣбью. Фиолетовой дымкой подернуть горизонтъ.

— Скачешь больно быстро!—собравъ все присутствіе духа бросаю я визгливо, стараясь поддѣлаться подъ манеры горничныхъ.

— Что, кавалеръ, получилъ? — добродушно смеется сосѣдка-мѣщанка.

— Мы, матросы, народъ быстрый... Аль «крупа» больше приглянулась?

Не знаю, кого онъ «крупой» величаетъ, и чтобы скрыть смущеніе, повертываюсь къ низенькому чернявому матросику, товарищу блондина. Послѣдній мнѣ положительно страшенъ съ своимъ острымъ, какъ жало, языкомъ.

— Служивый, съ чего нынче матросы гуляютъ?

— А ты рази не кронштадтская?—сбоку оглядывается меня блондинъ.

— Ни.

— Не знаешь дѣловъ нашихъ, что гуляемъ передъ плаваньемъ? Деревенская что ли?

— Да, изъ деревни.

— Фунтъ-те мыла, де-ре-вен-ская!

Матросъ насыщенно присвистываетъ, съ особымъ ударениемъ подмигивая публикѣ. Со всѣхъ сторонъ слышится смѣхъ. Увидавъ въ числѣ смѣющихся большеглазую дѣвицу, съ взбитыми буклями подъ шелковымъ платкомъ, блондинъ стрѣлой мчится къ ней. Дѣвица хихикаетъ, скаля изъѣденные зубы. А тотъ передъ ней извивается, разсыпаясь въ комплимантахъ:

— Погибаю отъ тоски, сохну отъ глазъ вашихъ пронзительныхъ, очаровательная прелестница! Дозвольте несчастному моряку забросить якорь въ ваше сердце и найти тамъ тихую пристань послѣ грозныхъ бурь кипучей жизни матроса!

Дѣвица жеманно поводитъ бровями.

— Вотъ заливаешь!—восторженно, съ оттѣнкомъ зависти, восклицаетъ товарищъ блондина, глядя на него живыми, дѣтски наивными глазами.

А блондинъ прикладываетъ руку къ сердцу, покручиваетъ молодцевато усы и сыплетъ, сыплетъ безостановочно:

— Уста ваши сладкія, какъ фунтъ патоки! Поцѣлуи обжигательные, какъ... какъ... Э, чортъ, сбылся! Уста ваши, какъ шимоза, обжигательны! Глаза ваши...

Дальнѣйшую рѣчь обольстителя заглушаетъ пронзительный гудокъ парохода.

— Попробуй, попробуй! Я те обожгу физику! Я те покажу шимозу!—прорывается визгливый голосъ бойкой дѣвицы.

А море дышитъ полной грудью и бросаетъ на палубу свѣжія волны воздуха, богатое, дарящее. Словно хочется

ему спахнуть со всѣхъ вывезенную изъ городовъ скучную, сѣрую пыль, хочется омыть всѣхъ своей освѣжающей влагой.

Во все растущей вблизи меня толпѣ привлекаетъ вниманіе новая фигура.

— Хочь все спущу, что за зиму накопилъ, а ужъ душеньку распотѣшу! Ну и что? Ну и гуляю! Потому наше положеніе такое! А они въ толкѣ не могутъ взять. Должонъ я на послѣдки разгуляться безъ препятствія, али нѣтъ? А? Ты мнѣ только про это скажи: долженъ али нѣтъ?—наступаетъ на сосѣда пожилой морякъ съ дубоватымъ и плотнымъ, какъ огурецъ, лицомъ, съ мѣшками подъ глазами.

— Зачѣмъ у него углы на рукахъ?—спрашиваю я черняваго матроса.

А блондинъ ужъ тутъ какъ тутъ:

— Слыши, Ваше Благородie! Мамзель Матреша любопытствуетъ на счетъ треугольной нашивочки!—язвительно кидаетъ онъ въ сторону пожилого, дергаetъ его за локоть, и вызывающе глядитъ ему въ осовѣлые глаза, насыщенно прикладывая руку къ фуражкѣ.

Того точно обухомъ по головѣ ударили. Съ минуту онъ стоитъ молча. Весь ощетинился, ноздри раздулись, задвигались усы и крѣпкія челюсти, тяжело сопить, точно съ духомъ собирается. Наконецъ прорвался,— и какъ изъ трубы полилась отборная ругань.

Публика, жадная до скандаловъ, радостно хохочетъ.

— Ага!—злорадствуетъ высокій:—лизнулъ горячаго!.. Мамзель Матрешъ, господинъ «шкура», не желаетъ съ вами въ разговорѣ вступать. Ну, такъ я сдѣлаю вамъ разъясненіе на нашемъ грубомъ нарѣчіи. Углы, Матрешъ, обозначаютъ «шкуру», это значитъ который Іуда Христопродавецъ сверхъ срока остался, чтобы съ нашего брата шкуру тянуть и нашимъ врагамъ подлостью своей подслуживаться!

Съ рвущейся ненавистью блондинъ крутитъ дрожащими руками папироску.

Толстякъ, видимо, чувствуетъ себя не особенноувѣренно.

— А если зями дома нѣту, куды подашься?—сдерживаясь спрашиваетъ онъ.

— Зями!—съ презрѣніемъ передразниваетъ блондинъ:— Молчи ужъ! Эхъ ты, шкура барабанная!

Споръ разгорается. Какъ остро отточенные клиники съ одной стороны и какъ тяжелыя дубины съ другой, сыплются словесные удары, уснащаемые изворотливой бранью.

А немного поодаль кучка матросъ сидитъ на свернутомъ канатѣ съ бутылкой въ рукахъ и колбасой. Проходя мимо, прислушиваюсь.

— Времячко-то, да-а... поглядимъ!

— Пускай куражатся напослѣдки, а тамъ... можно и хвостъ на порогъ...

И въ широко раскрытый ротъ ловкимъ движеніемъ опрокидывается бутылка.

Вотъ она, масса въ своемъ натуральномъ видѣ! Брошу по пароходу, вся слухъ и вниманіе, затерянная въ толпѣ. Еще часъ тому назадъ она была чужая мнѣ и опасная,—теперь уже чувствую себя ея частью.

А старая, затхлая жизнь тутъ же, рядомъ. Заглядываю, проходя мимо, въ окно второго класса. Оттуда холодно глянули на меня стеклянные глаза сѣдой, затянутой въ корсетъ дамы. А рядомъ съ ней скучающая дѣвица съ фальшивой улыбкой на губахъ. Поскорѣй прохожу дальше.

Подсаживаюсь къ юнымъ дѣвушкамъ въ бѣленъкихъ платочкахъ; со скромно потупленными глазами. Но какъ я ни пытаюсь вовлечь ихъ въ разговоръ, онѣ сидятъ, словно воды въ ротъ набравши.

— Это изъ деревень набраны, строго съ ними обращаються юаннитки, то онѣ всего и опасаются,—поясняетъ мнѣ рабочій.

Вслушиваюсь въ гнусавый речитативъ одной изъ юаннитокъ.

—... И вотъ это, родимые, надумали эти самые студенты—сичилисты надѣять нашимъ батюшкой этакую шутку сочинить. Прикинулись безбожники смиренниками, пришли это къ батюшкѣ...

И тянется, тянется долгое перечисленіе чудесъ Іоанна Кронштадтскаго заученнымъ, долбящимъ голосомъ.

— А то еще привелъ Господь, сама сподобилась узрѣть грѣшными очами,—рассказываетъ юаннитка, благочестиво подымая при этомъ глаза кверху:— Пришелъ не владѣющій ногами человѣкъ: исцѣли, говоритъ, батюшка!..

— Какъ такъ?—не выдергиваетъ наконецъ кое-кто изъ слушателей:—Не владѣющій ногами, а пришелъ!

— Запуталась, матушка, опростоволосилась!

— На жалованъи, что ли, состоишь у батюшки? Нанялась про чудеса разказывать?

На бабу въ изобилии сыплются колкія замѣчанія и насмѣшки.

— Провалиться мнѣ на этомъ мѣстѣ! Отсохни твой языкъ! Разорвись утроба у твоей матери!

Перекошенный отъ злобы ротъ дебелой бабы изрыгаетъ невозможная проклятія и ругательства.

Я взглѣдываю на дѣвушекъ,—и сердце во мнѣ сжимается. Трудно себѣ представить болѣе разительный контрастъ между ихъ дѣвической чистотой и невинностью и цинизмомъ ихъ руководительницъ.

Рабочие кругомъ такъ и сыплють рассказами про юаннитокъ. Въ то время, какъ со всѣхъ концовъ Россіи сотни тысячи богомольцевъ стекаются къ «батюшкѣ»,—его приближенныя,—цѣлый штабъ женщинъ самого низкаго пошиба,—пользуясь его именемъ, широко раскинули паучы сѣти обмана, воровства и разрата.

— Святитель! Угодникъ!—негодують рабочіе:—только нищихъ да бродягъ разводить! По его милости нашъ городъ сталъ прямо разбойнымъ гнѣзdomъ!

Много нелестнаго выслушиваю я про юаннитскій пріютъ. Но соблазненная его дешевизной,—три копейки въ сутки,—рѣшаю на первое время ткнуться туда.

ГЛАВА IV.

Въ юаннитскомъ пріютѣ.

Вотъ и Кронштадтъ. Вотъ три дамбы, какъ раскоряченные пальцы, далеко протянувшіяся въ море. Вотъ тряская таратайка, «кукушка» по мѣстному, куда взбираюсь со своимъ скорбомъ и я.

Поянулись улицы съ незатѣйливыми деревянными домиками, съ досчатыми заборами и пустырями. Въ окнахъ кисейныя занавѣски, горшки съ цвѣтами. У калитокъ посѣрѣвшія, мшистые лавочки. Совсѣмъ словно небольшой провинціальный городокъ гдѣ-нибудь въ глубинѣ Россіи. Только гдѣ-то совсѣмъ близко рокочетъ море. Только безпрестанно снующіе солдаты и матросы напоминаютъ о томъ, что это—Кронштадтъ, Вѣнецъ—Городъ, щитъ столицы.

А вотъ и шикарныя улицы потянулись. Соскакиваю съ тряслушки, захожу въ редакцію мѣстной газеты, протягиваю заранѣе заготовленную бумажку:

«Марія Терентьевна ищетъ мѣста», добавивъ внизу каракулями: «спросить юаннитскій пріютъ», и, поспѣшно отдавъ по таксѣ плату, бѣгу дальше.

Пріютъ. Толпы пьяныхъ на дворѣ. Попала было не на ту лѣстницу, мужчины загораживаютъ дорогу, хмыкаютъ, облапливаютъ. Еле нашла нужную дверь.

Строгія иконы по стѣнамъ, строгая «начальница», командиръ—баба. Мой паспортъ послѣ долгаго оглядыванья со всѣхъ сторонъ на свѣтъ и ощупыванья признанъ правильнымъ; мой визитъ въ Кронштадтъ—безсмысленнымъ, п. ч. и здѣшней прислуги хоть прудъ пруди, но въ виду моего желанія помолиться батюшкѣ тоже удостоенъ всемилостивѣйшаго признанія; указано мѣсто на общихъ нарахъ, гдѣ всѣмъ полагается спать вповалку, только подушка соломенная каждой особо.

— Сними пальто и ложись здѣсь!—командуетъ начальница.

Но какъ же я сниму пальто, когда я вся обмотана полотенцами и напичкана книжками! Торопливо поправляю платокъ на головѣ.

— Дозвольте сходить, публикацію пропечатать!

— Куды? Вотъ дура деревенская! Не видишь,—ночь на дворѣ!

— Нѣтъ, ужъ дозвольте! Мнѣ бы поскорѣе съ мѣстомъ этимъ. Боязно въ большомъ то городу. Пропишу ужъ лучше.

Провожаемая общимъ смѣхомъ, спѣшно выхожу. Тускло мерцаютъ фонари. Кутаясь въ платокъ, шлепаю по лужамъ. Въ вечернѣй воздухѣ пахнетъ весной. Разыскиваю адресъ моихъ будущихъ хозяевъ. Вотъ и нужный мнѣ домъ. Кладу руку на скобку и замираю. Что за люди живутъ за этими дверьми? Какъ встрѣтять? Понравимся ли другъ другу? Стучусь.

Впускаютъ меня, оглядываютъ со всѣхъ сторонъ. Пока я освобождаюсь въ кухнѣ отъ книжекъ, долго шепчутся между собою.

— То-то же, что грѣхъ. Мы вотъ и такъ судимъ, и этакъ рядимъ. Пользѣ дѣла охота поспособствовать, это главное; а другое,—за себя страхъ береть.

— Такъ и сказали Дмитрію: пока не оглядимъ ее, соглася нашего окончательнаго нѣту!—говорить хозяинъ.

Онъ среднихъ лѣтъ, съ типичною фигурой русскаго торговца. Грубовато-добродушно-хитрое лицо, массивная, изъ новаго золота, съ брелкомъ, цѣль черезъ брюшко. Хозяйка гораздо моложе его, съ черными красивыми глазами, статная, легкая. Она усиленно потчуетъ меня чаемъ.

— Ишь вѣдь каکая: дѣвка, какъ дѣвка!—безцеременно оглядывая меня, снова заговориваетъ «самъ».

— А вы думали—страшная?—смѣюсь я, не совсѣмъ-то ловко чувствуя себя подъ его взглядомъ.

— Да ты поостерегись, Иванычъ! Чай, барышня!—останавливаетъ она:—Зарубиль свое: «дѣвка» да «дѣвка»!

— Да я ничего! Я къ тому вотъ, что нигдѣ, моль, выѣски не имѣется, что въ нутрѣ-то у нея.

Самоваръ уже ворчитъ и пыжится на столѣ, вкусно пахнетъ горячимъ ужиномъ, но вспоминаю про пріютъ, про пьяныхъ на дворѣ. Отказываюсь отъ чая и прощаюсь, еще разъ совѣтуя хозяевамъ подумать, прежде чѣмъ соваться въ такое дѣло. Уславливаемся такъ: завтра появится въ газетѣ моя публикація, и если они надумаютъ, барыня завтра же придетъ въ пріютъ наниматъ меня.

Прощаемся довольно дружески. Хозяйка, запирая за мною дверь, шепчетъ: «Безпремѣнно приду».

Въ пріютѣ всѣ уже спятъ. Въ комнатѣ тусклый полу-
мракъ. Тѣни отъ лампадокъ шевелятся тихо и таинственно.
Стою подъ стѣной, превращенной въ иконостасъ, и истово
прикладывая пальцы ко лбу, плечамъ и животу, отвѣшиваю
низкие поклоны. Мягкое мерцаніе свѣчей, вспыхивающая то
тамъ, то сямъ позолота иконъ, запахъ горячаго воска и
лампадного масла придаютъ помѣщенію церковный харак-
теръ. Какое-то особое настроеніе внутренней подтянутости
и тишины охватываетъ меня.

Я не жалѣю, что пріѣхала. Только новому чувству
радости и облегченія примѣшивается чувство смутной тре-
воги. То ли мысль о трудности будущей жизни вдругъ
конкретно встала предо мною, то ли боязнь отвѣтствен-
ности снова заговорила. Еще первого шага успѣла не сту-
пить, а уже приходится брать на свою совѣсть этихъ со-
всѣмъ наивныхъ, совсѣмъ далекихъ отъ революціи людей,
и соглашаться на ихъ предложеніе, совсѣмъ не провѣривъ
себя въ новой роли.

Все усерднѣе отвѣшиваю поклоны и смотрю впередъ
себя съ страшнымъ напряженіемъ всего существа. О если-
былъ кто-то высшій, къ колѣнямъ котораго можно при-
пасть и въ чьи руки можно ввѣрить свою судьбу! Но намъ,
невѣрующимъ, гдѣ, въ чемъ, у кого почерпнуть указаніе?
Въ своей совѣсти? Но въ такія исключительныя минуты
она становится ареной враждующихъ силъ. Я должна жить
въ Кронштадтѣ, чтобы помочь матросамъ. Но имѣю ли
я право начинать съ того, чтобы подвергать другихъ тому
риску, который я беру на себя? Не лучше ли попросту
наняться въ прислуги на самомъ дѣлѣ, къ совершенно
чужимъ людямъ, которыхъ я не подведу, если даже меня
откроютъ?

Эта мысль сразу успокаиваетъ меня. Отвѣшиваю по-
слѣдній поклонъ и ложусь, подсунувъ 3 коп., плату за
ночлегъ, подъ войлокъ въ ногахъ, какъ меня научили. Отъ
жажды во рту все пересохло. Вспоминаю про апельсинъ,
положенный въ узелъ хозяйкой, и начинаю Ѳѣсть его.

А кругомъ въ тяжеломъ снѣ раскидалось десятка два
больного несчастнаго народа. Ворочаются, почесываются,
храпятъ: однѣ настойчиво и будто зло, другія съ тонкимъ
присвистомъ, третьи съ тяжелыми хрипами. По временамъ
раздаются то тамъ, то сямъ стоны, тяжелые и мучитель-
ные. На нѣсколькихъ лицахъ провалившіеся носы. Воздухъ
сперты, дышать нечѣмъ. Колеблются и почти гаснутъ
блѣднѣнѣкіе язычки лампадокъ передъ темными иконами.
Моя сосѣдка, взмахнувъ руками, повернулась, почти всѣмъ
корпусомъ навалившись на меня. Свѣтъ лампадки освѣтилъ
ея разопрѣвшее въ духотѣ лицо: изъ закрытыхъ глазъ съ
полусгнившими вѣками сочится гной; губы исковерканы не

то какой-то болѣзнью, не то операціей; изо рта долетаетъ
до меня больное, зловонное дыханіе. Приподнимаюсь въ
испугѣ на локтѣ,—апельсинъ блеснулъ на свѣту.

— Ты что это, грѣховодница? а?

Поодаль отъ меня, тоже приподнявшись на локтѣ,
грозитъ мнѣ пальцемъ какая-то старуха.

— Ты молилася? да? Ну, и спи теперь! И спи! Пра-
ведница! Безбожница! Лежачи, фруктовъ захотѣла!

Какъ же востро надо держать ухо!

— Бабушка! Я еще помолюсь! Вотъ те крестъ, помо-
люсь! Пить шибко захотѣлось! Не хощь ли половинку?

Старуха смягчается, и у нась начинается разговоръ
шопоткомъ. Долго шамкаетъ она беззубымъ ртомъ пере-
давая мнѣ свою исторію, свою обиду деревенскую; вѣра
въ правду, въ царскую милость загнала ее въ Питеръ, а
оттуда и въ Кронштадтъ. Сухонькая, маленькая, пошам-
каетъ, пошамкаетъ, а потомъ глянетъ слезливыми глазами
на икону и долго шепчетъ жаркія слова молитвы, чтобы
услыхала Владычика сироту, въ мірѣ одинокую,—и изъ-
подъ покраснѣвшихъ вѣкъ снова текутъ выстраданныя,
мутныя слезы.

Поплачетъ, поплачетъ, утрется, попьетъ апельсиннаго
соку:

— А ты, матушка по какому дѣлу въ Кронштадтъ?

— Въ прислуги наниматься.

— Поди што по сердечному? таешь? ась? Я еще да-
веча запримѣтила съ горя, думаю, безпремѣнно съ горя
высохла. Поди што по сердечному? Да ты не кройся,
касатушка! Выплачешься передъ батюшкой,—легче станеть.
Дѣло молодое,—вѣстимо.

Долго шамкаетъ старушка. Медленно ползть ночь.
Я задыхаюсь въ ужасной атмосферѣ. И кажется мнѣ, что
больныя, зловонныя испаренія, клубящіяся, словно чадные
туманы, надъ раскинутыми въ всевозможныхъ позахъ фи-
гурами нещастныхъ женщинъ, являются отраженіями ихъ
исковерканныхъ, изуродованныхъ жизней. И старушка, су-
хонькая и легонькая старушка, пришедшая за тридевять
земель съ наивной вѣрой въ царя искать правды, кажется
свѣтлымъ, почти символическимъ образомъ, разсѣвающимъ
мракъ въ этомъ угарномъ туманѣ.

Чуть задремала подъ утро, будяще къ заутренїѣ.
Дѣлаю надъ собою отчаянное усиление, чтобы встать.

Сегодня служить самъ «батюшка», подобранный ста-
ричекъ съ пріятнымъ розовымъ лицомъ. Его проповѣдь
на избитую тему о гееннѣ огненной поражаетъ отсутствиемъ
живой любви къ людямъ и какого бы то ни было вдохно-

венія: какъ урокъ зазубренный и давно надоѣвшій, выходить изъ его усть деревянныя скупыя слова. А его приближенныя въ какомъ-то историческомъ экстазѣ внимаютъ ему. Ихъ руки сложены крестомъ на груди, глаза уведены къ небу, громкія вздоханія оглашаютъ церковь, переходя въ стоны, становясь все неистовѣе. Сосредоточенно и важно молится рядомъ пришлый народъ. Какъ и у моей старушки, въ глазахъ у нихъ, устремленныхъ къ «цѣлителю», столько бездонной вѣры и столько страданія и тоски! Тяжелыя, мутныя слезы застреваютъ въ морщинахъ натуженныхъ изборожденныхъ лицъ.

Начинается обрядъ благословенія послѣ службы. Іоаннитки бросаются впередъ, безцеремонно расталкивая толпу. Натискъ ихъ все растетъ. Полицейские все съ большимъ трудомъ отбиваются ихъ отчаянныя атаки, работая локтями, кулаками и... глоткой, и отънатуги становясь прямо багровыми. Мелькаютъ сорванные въ дракѣ платки съ головъ, растрепанные волосы; трещатъ разорванные кофты; нѣкоторыя взбираются на рѣшетки и, сброшенныя почти съ саженной высоты, дико кричатъ при паденіи, давя окружающихъ...

А на верху стоитъ розовенькій старичекъ, протягивая руку для поцѣлуя и равнодушнымъ взглядомъ скользя по толпѣ.

Знакомлюсь съ городомъ. Странная смѣсь самой захудалой провинциальности и кипучей, бьющей ключемъ дѣятельности. Маленькие домики и беспокойно гудящія толпы рабочихъ. Надписи въ садахъ, напоминающія старыя, добрыя времена крѣпостничества: «Собакъ не водить, нижнимъ чинамъ входъ воспрещается»,—и на ряду съ этимъ улицы и тѣ же сады, кишащіе матросами, шумными, небрежно отдающими на ходу честь офицерамъ.

На улицахъ то и дѣло слышится иностранная рѣчь, вывѣски ресторановъ пестрятъ словами: Лондонъ, Парижъ и т. п. А рядомъ,—обиліе пришлага народа, робкихъ, неотесанныхъ мужиковъ въ лаптяхъ, и лавочки за воротами, и чисто деревенскія заваленки, чтобы было гдѣ коротать вечерніе часы досужимъ обывателямъ. Роскошные общественные сады-парки, громадные доки, каналы, пересѣкающіе городъ въ разныхъ направленіяхъ, мости черезъ нихъ; безконечныя казармы, занимающія часто сплошь всю улицу или даже цѣлый кварталъ; угромыя громады правительственныхъ учрежденій; и на каждомъ шагу солдаты, матросы, офицеры, «шкуры».

Сворачиваю въ большой паркъ, иду все дальше по прямой, широкой аллѣ, и вдругъ замираю, какъ вкопанная. Передъ глазами раскинулось море, лѣсь мачты и трубъ,

вереницы судовъ. Бойко пыхтятъ паровые катера, бороздя воду во всѣхъ направленіяхъ; шныряютъ ялики; какъ стрѣлы несутся гребныя суда, точно крылья птицъ мелькаютъ взмахи дружныхъ веселъ. Матросскіе форменки синѣютъ повсюду, словно бусами оторачивая борта бѣлыхъ лодокъ и сѣрыхъ большихъ судовъ. Высоченные лебедки то вздымаются кверху, то медленно и равномѣрно опускаются книзу свои острия. Въ Порту на заводахъ громыхаютъ и визжатъ машины; на ремонтирующихся судахъ сухо звякаютъ молотки о желѣзо. Понуканія надсмотрщиковъ, крики грузчиковъ, шмыганье рабочихъ и матросовъ, визгливые выкрики торговокъ квасомъ, подсолнухами и кислыми щами, смѣхъ остроты... Все это сливается въ такую красочную картину, насыщенную жизнью, солнцемъ, энергией, полную труда и нервнаго напряженія...

На далекомъ рейдѣ сѣрѣютъ силуэты броненосцевъ, почти сливаюсь съ безбрежнымъ горизонтомъ. Еще дальше черныя точки южныхъ фортовъ. А море, залитое золотистой рябью, съ мелкими кое-гдѣ бѣлыми парусами, тихо плещется о каменные стѣны, переливаясь и вздрагивая, словно отъ смѣха.

Мощной силой пахнуло на меня и отъ этихъ гигантовъ, и отъ шумной, ключемъ бьющей жизни. И страхъ и словно зачарованность сжали сердце.

Въ церкви кончается служба, и гудятъ колокола, внося еще больше полноты въ эту картину, бросая вверхъ гамму звуковъ, словно родня море съ небомъ, сливая ихъ въ единое ощущеніе могучей, стихійной радости жизни.

На бульварѣ ко мнѣ подсаживается женщина.

— Ты изъ кухарокъ?

— Нѣтъ... да... впервые.

Еще и еще подходятъ, и нась собирается цѣлая куча. Выпытаю да выспрашиваю про жизнь у господъ, про кронштадтскія условія, про личную жизнь каждой. Про себя тоже рассказываю наскоро сочиненную исторію.

Откуда ни возьмись городовой:

— Р-рас-с-с-ходись!

— Это почему? Съ қакой стати?

Чуть было «какое вы право имѣете?» не крикнула ему. За мнай рыжая женщина тоже что то буркнула ему. Тотъ какъ рявкнетъ.

— Не знаешь про военное положеніе? Сборишамъ запреты! Ну поговори еще!

Да какъ схватить женщину за плечо! Та, даромъ что головой меня выше, еле на ногахъ удержалась.

Женщины, отойдя на приличное разстояніе, и ругаютъ собаку-фараона, и подсмѣиваются надъ нимъ. Мнѣ почти радостно, что я теперь «настоящая», ихняя, обруганная, какъ и онъ, лишенная всѣхъ привилегій.

Возвращаюсь въ пріютъ.

— Ты Терентьевъ? Къ тебѣ солдаты приходили!—огораживаю меня въ пріютѣ.

— Солда-а-ты? — протягиваю я съ ужасомъ: неужто, думаю, наши послали? Какое безуміе!

— Ну, да, солдаты! А тебѣ генерала что ли?—кричитъ начальница:—приходили къ господамъ звать.

Отлегло. Но для видимости ною: мѣсто потеряла.

— А ты бы больше по городу-то шлялась, зѣва! Пріѣхала мѣсто искать а самое на цѣпи неудержиши!

Своимъ нытьемъ я однако вызываю сочувствіе, меня снабжаютъ адресами, и я храбродвигаюсь «рядиться».

Вхожу въ одну кухню. Въ углу красненькій денщицкій сундучекъ, на немъ саложныя щетки и тряпицы. Барыня выходитъ въ грязномъ капотѣ, растрепанная, видно сейчасъ съ постели. Смотритъ, щурится, не въ духѣ.

А мнѣ вдругъ дѣтство вспомнилось: такой же, любимый нами, красненькій нянинъ сундучекъ, сидя на которомъ, мы, бывало, любили слушать ея старинныя пѣсни, страшныя сказки и раз cntas про жизнь деревенскую, тѣ раз cntas, что впервые зародили во мнѣ любовь и вниманіе къ простому народу. И также приходила къ намъ рядиться прислуга...

Окончивъ оглядываніе, барыня приступаетъ къ разспросамъ. Отвѣчаю складно. Въ дверяхъ во всѣ глаза глядѣть на меня денщикъ.

— А жениховъ много?

Отъ этого неожиданного вопроса я волнуюсь, губы нервно дергаются.

— А! Смѣешься! Угадала, значитъ! Женихи будутъ приходить!—торжествуетъ барыня:—Можешь уходить, откуда пришла!

— Да нѣтъ же, барыня, право нѣтъ, напраслину взводите!

— Ну, ну, не разсыпайся, матушка! По глазамъ вижу! Уходи, уходи! Проводи ее, Семень!

Прогнали! Не сумѣла взять правильнаго тона! Провалилась! Но что это? Мнѣ, кажется, не на шутку больно? Не могу подняться выше такихъ маленькихъ уковоль самолюбія?

Иду въ новый домъ.

— Кумъ пожарный будетъ приходить?

— И, что вы, барыня! Нешто можно! Чай я изъ деревни!—говорю я, скромно опуская глаза.

Здѣсь я нравлюсь своей неиспорченностью. Мнѣ велятъ приходить за отвѣтомъ.

Еще одинъ адресъ. Просторная, свѣтлая кухня. Нарядная горничная. Выходитъ пышно одѣтая, строгая дама.

— Вотъ съ са-а-баками надо гулять!—цѣдитъ она, указывая рукой въ брилліантахъ на двухъ большихъ бѣлыхъ псовъ, преважно разлегшихся на подушкахъ у окна.

— Съ собаками?

— Ну, да, съ сабаками!—А вы, можетъ, не любите сабак? Еще, пожалуй, бить ихъ будете?—обидчиво настороживается барыня.

— Зачѣмъ бить! Бить не буду. А только чуднѣ по нашему деревенскому понятію,—чтобы собаки съ провожатыми гуляли.

— Ахъ, да, вы деревенская! Ну, конечно, какое у васъ можетъ понятіе быть!.. Ахъ, Боже мой, уходите!—устало раздражается она.

Въ два часа приходитъ въ пріютъ моя вчерашняя барыня, и начинаетъ рядить меня при всей публикѣ. Долго мы не сходимся въ цѣнѣ. Наконецъ ужъ начальница пріокрикнула:

— Да будетъ ужъ! Бери, что ли! Много ли лучшаго въ деревнѣ видела? Глядите, кака барыня выискалась! И работы тяжелой боится: дохтора, видишь, здоровья въ ней мало нашли, да еще и жалованье ей подавай настоящее!

Солашаюсь нехотя. Прощаюсь съ начальницей, съ больной сосѣдкой, что хранила мой узель. Та вдругъ поднимается на локтѣ и цѣлуетъ меня прямо въ губы. Внутренне вся вздрогиваю отъ этого поцѣлую сифилитички. Прощаюсь со своей пріятельницей старушкой.

Обхвативъ узель, въ почтительномъ разстояніи слѣдуя за барыней. А та кусаетъ губы и по временамъ трясется отъ еле сдерживаемаго смѣха.

Кажется, пройдены самые первые, самые страшные, самые неувѣренные шаги. Что-то ждетъ меня дальше!

Идемъ мимо парка. Щебечутъ птицы. Лицо ласкаютъ низко спустившіяся молодыя вѣтки.

ГЛАВА V.

Въ чужой кокѣ.

Два часа. Устраиваю себѣ постель на кухнѣ. Господа обѣдаются. То и дѣло барыня прибѣгаешь ко мнѣ, хохочеть, тормошитъ меня. То, что нужно скрываться, ее не-

обыкновенно волнуетъ и вмѣстѣ съ тѣмъ забавляетъ и радуетъ, какъ ребенка. Послѣ обѣда принимаюсь за мытье тарелокъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, ни въ коемъ случаѣ! — кричитъ барыня, отстраняя меня отъ полоскательной чашки: — Что на людяхъ, то дѣлайте, а въ домѣ не позволю! Если хотите, вмѣстѣ.

— Барыня! — въ сотый разъ прошу ее: — Да говорите же мнѣ ты! Не ровенъ часъ, кто услышитъ!

Она замираетъ отъ восхищенія и опрометью бѣжитъ въ комнату подѣлиться съ «самимъ» своими впечатлѣніями.

На полу вынутыя зимнія рамы, ковры, сложенные въ кучу, груды пыли, накопившейся за зиму.

— Терентьевна! Вотъ коверъ нужно бы выбить!

Черезъ раскрытыя окна ея молодой звонкій голосъ далеко разносится по улицѣ.

Коверъ — гордость хозяевъ — во всю комнату. Съ трудомъ дотаскиваю его до двора, развѣшиваю. Барыня садится на заваленку. Размахиваюсь палкой. А коверъ упругій, какъ стѣна, почти не шевелится отъ моего удара, пыль еле-еле летитъ. А въ окнахъ жильцы глазѣютъ.

— Новую взяли, Варвара Степановна?

— Новую! Только работница, — наказанье Господне! Ишь, съ ковромъ не справится! А ты не жалѣй рукъ, мачтушка! Этаѣ до заутрени промаешься!

Выхвативъ у меня палку, она съ силой бьетъ по ковру. Густыми клубами пыль летитъ кверху, покрывая и ее, и все вокругъ. О, какъ въ этотъ моментъ я завидую ей, ея привычной къ работе рукѣ, ея упорной силѣ!

— Видишь, какъ надо! Нечего губки-то равнять! Работай!

Съ прикушенными «губками» снова принимаюсь за дѣло. Господи, пронеси! Какъ злѣшаго врага, начинаю ненавидѣть коверъ. Разъ за разомъ ударяю все сильнѣе, все ожесточеннѣе. Отчаяніе придаетъ силы; работаю до того, что протираю кожу на рукахъ...

— Ну, ужъ ладно! Сложи въ сундукъ, да поакуратнѣе!

Начинаю стаскивать коверъ съ веревки, красные круги плывутъ передъ глазами, еле на ногахъ держусь. Нечего сказать, работница!

Со слезами на глазахъ, съ позоромъ въ душѣ вхожу въ домъ, а хозяйка слѣдомъ идетъ, утѣшаetъ меня.

— Понравилась ты на дворѣ: видно, говорятъ, скромница; на-диво по нонѣшнимъ временамъ.

Явившійся Дмитрій застаетъ меня за мытьемъ сте-

колъ. Оглядываетъ мой нарядъ, прическу, засученные рукава.

— Вотъ и ладно! — говоритъ онъ съ видимымъ удовольствиемъ. — Впрочемъ, я только на минутку. Вотъ тутъ адресъ. Можно ей отлучиться часовъ въ 8? — полуушутя, полусерьезно спрашиваетъ онъ моихъ „господъ“.

— Мы прислугу вольно держимъ! — заговорщики смѣются хозяйка.

Дмитрій уходитъ. Помогаю барынѣ закончить уборку, выношу соръ на дворъ, таскаю воду. Низко кланяюсь встрѣтившемуся дворнику. Онъ благосклонно заговариваетъ со мною. Бойко отвѣчаю, а у самой сердце бьется, бьется: такъ ли? ладно ли?

Пью чай.

— Давно вы этакими дѣлами занимаетесь? — спрашиваетъ мужъ: — чай, страшно?

— Да вамъ страшнѣе, — смѣюсь я: — это только сначала, а какъ покатишься по рельсамъ, покончивъ со всѣмъ старымъ, — и думать обо всемъ постороннемъ забываешь.

— Позвольте полюбопытствовать: а у васъ имѣются родители? вы съ ними видаетесь? хоть кроючись какъ-нибудь? — съ широко раскрытыми глазами шепчетъ хозяйка: — небось, съ горя умираютъ?

— А какъ у васъ въ партіяхъ? кто набольшій? Видали вы его? Кто его назначаетъ?

Не стѣсняясь, какъ дѣти, задаютъ десятки самыхъ разнообразныхъ вопросовъ, первыхъ, что приходятъ имъ въ голову.

Въ 8 часовъ набрасываю шаль. Городъ уже знаю немного.

— А, Марья Ивановна! Наше вамъ съ длиннымъ хвостикомъ! — раздается надъ ухомъ.

Съ крикомъ испуга вскидываю голову: матросская форменка, чмокающее меня въ щеку пьяное лицо, и хоть пьянай компаніи надъ моимъ испугомъ. Стыжу себя за нервность: назвалась груздемъ, полѣзай въ кузовъ!

Вхожу въ обширный дворъ. Справа за колымажкой дверь, помѣщенная крестомъ. Значить, сюда. Стучусь. Бородатый дворникъ молча впускаетъ меня въ каморку. Гускло, почти темно.

— Семеновъ здѣсь?

— Тутъ, малость обождите! — глухо отвѣчаетъ дворникъ, подходя ко мнѣ вплотную.

— Никита! — вскрикиваю я, пораженная.

Дворникъ поворачивается лицомъ къ свѣту, и я ясно вижу знакомое лицо, знакомую улыбку.

Никита въ восторгѣ, что я его не узнала. Да онъ и на самомъ дѣлѣ какъ будто измѣнился за тѣ нѣсколько

недѣль, что я не видѣла его обрость, загорѣль, огрубѣль. На ногахъ тяжелые сапоги, штаны грубыя, заплатанные, вправлены въ голенища; красная бумазейная блузка, длинный грязный дворницкій фартукъ, съ перемычкой черезъ шею. Хибарка крохотная, вся проросшая сыростью, какъ погребъ. Въ углу на доскахъ груда тряпья вмѣсто постели, ревматичный столъ, грязная скамейка. На стѣнѣ царскій портретъ, странно выдѣляющійся блестящимъ лакомъ и свѣжими красками, еще не засиженный мухами. Двѣ—три книжки про „Анику—воина“ и про «Доблести героя генерала Ермолова». Оконце крохотное. Тѣсно, душно.

Мнѣ стыдно за себя: я сравнительно съ нимъ живу барыней, и еще развозжу какія-то трагедіи! А онъ! Онъ править настоящую тяжелую дворницкую работу,—и ничего, весель и доволенъ!

— Вотъ погодите, скоро мои господа на дачу уѣдутъ, — то-то будетъ раздолѣ! Ну, а пока... приходится потерпѣть! Сегодня это...—онъ улыбнулся въ усы,—безпремѣнно нужно было отлучиться въ одиннадцать часовъ. А барыня какъ на зло: таскай вотъ, говоритъ, сундуки съ чердака. И сама тутъ. Что тутъ будешь дѣлать! Пришлось покоряться судьбѣ! Ладно. Вожусь это я съ сундуками въ полной исправности, со всѣмъ стараніемъ, а чуть отвернись барыня, я моментально и сиганула со двора. Вернулся. Боже жъ ты мой, что тутъ было! Не снести, думаю, мнѣ головы моей! И ногами изволи топтать, и «вонъ, вонъ!» визжать, какъ поросенокъ недорѣзанный! И-и, что тутъ было!

— Ну, и что жъ?

— Что жъ? Молчу. Мну картузъ, стою, какъ виноватый. Кончила-таки мытарить. Перетаскалъ я ей все приданое. Званія, какъ на зло, купеческаго. Однихъ простыни дюжинъ двѣнадцать, да вѣдь простыни-то эво какія! Платьевъ шерстяныхъ не то съ полсотни, не то вся сотня накоплена, салоповъ 25 штукъ!

— Простила?

— Женское сердце отходчиво, извѣстно. Видитъ, стараюсь, ну... и того... Зимнія рамы послала складывать.

— Ну?

— Да благо Сорокинъ подвернулся, однимъ духомъ съ нимъ сложили. А то, бываетъ, какой другой матросъ забѣжитъ, дровецъ мнѣ поколеть али еще тамъ что,—глядишь, большое мнѣ облегченіе. А дворницкое жалованье тоже кстати: какъ разъ на поѣздки въ Питеръ хватаетъ.

— Ого, пара,—куликъ да гагара!—Ну, здравствуйте!—привѣтствуетъ насъ подоспѣвшій Дмитрій.

Начинаются дѣловые разговоры. Гляжу я на товарищѣ,—и дивлюсь. У Никиты глаза свѣтятъ ласково, даже когда онъ говорить о взбалмошной барынѣ, безконечная

доброта и снисходительность звучить въ его голосѣ. Куда дѣвалась его раздражительность и грубость, которая порою такъ отталкивали въ Питерѣ? Или это—дѣйствие кронштадтского воздуха? Или глаза мои видѣть здѣсь все по другому? мой умъ по-другому воспринимается?

— Никита! Ты опять пропалъ? Ни-ки-та-а!—раздается вдругъ со двора.

— Вотъ она — галка! — оправляя вылѣзшую рубаху, смѣется въ свѣтлую бороду Никита:—Экая непосѣда!... Чаво надотъ?—кричитъ онъ, выходя изъ коморки.

«Ту-ту-ру-ту-ту!»—раздраженно звенитъ женскій голосъ сверху. «Бубу-бубу-бубу!»—откликается ей басъ Никиты. Тяжелые шаги его громыхаютъ по лѣстницѣ.

— Выдержитъ? — съ тревогой спрашиваю я Дмитрія.

— Стоить захотѣть,—все можно выдержать!—тихо и просто отвѣчаетъ онъ. Глубокая, крѣпкая вѣра и скромная, сдержанная въ себѣ сила сказывается въ этихъ немногихъ словахъ. Въ новомъ свѣтѣ является передо мною и Дмитрій, который въ Питерѣ казался вялымъ, нерѣшительнымъ, тусклымъ.

Громко перекликается прислуга на дворѣ. Чья-то неумѣлая дѣтская рука бренчитъ на разстроенному піанино избитый вальсъ. Изъ подвального этажа раздается крикливая женская рѣчъ вперемежку съ всхлипываніями и бранью.

— Вотъ что, Терентьевна, вы обживайтесь-ка поскорѣе, набирайтесь храбрости, да и за работу! Что въ низахъ-то дѣлается! Чтой-то чудится мнѣ, не поздненько ли мы и такъ сюда прикатили. Кабы не вышло, какъ въ прошлый разъ:

«Три денечка погуляли,—
На четвертый намъ капутъ!»—

подмигивая смѣющимися глазами, декламируетъ Дмитрій.

— Рано каркать, да погибель накликать!—суроно обрываєтъ его Никита, появляясь въ дверяхъ.

Долго разговариваемъ, примостившись всѣ трое на Никитиной «кровати». Вслушиваюсь въ разсказы, споры, планы товарищѣй. Вижу, что они отлично ладятъ и понимаютъ другъ друга съ полуслова. Оба они—люди рядовые, неяркіе, даже внѣшностью. Отъ долговременного хронического недѣянія оба худы, какъ замотанныя лошади. Но какое у нихъ влюбленное отношеніе къ дѣлу, и какое простое, но глубокое смиреніе передъ огромностью вынавшій на ихъ долю задачи! Раньше отталкивала манера Дмитрія говорить обо всемъ въ шутливомъ тонѣ, а теперь разглядываю за ней боязнь фразъ и отвращеніе къ ходульности. Вотъ мы, цѣлыхъ три человѣка, буквально безъ копейки денегъ устроились исключительно ихъ стараніями въ крѣпости, объявленной на военномъ положеніи,—

и дѣла уже такъ подвинулись, что на дняхъ будетъ первое собраніе представителей отъ воинскихъ частей. Прежнее чувство скептическаго недовѣрія невольно таеть въ моей душѣ, чувство глубокаго уваженія къ товарищамъ замѣняетъ его.

Придя домой, застаю гостя у хозяевъ. Сидятъ за чаемъ. Барыня кричитъ мнѣ въ кухню:

— Долгоночко же ты у своей землячки загостилась! Иди, садись съ нами!

— Да я и здѣсь отужинаю!
— Да иди же, Терентьевна!—вступается и самъ баринъ:—Чего кобенишься! Гость хорошій, не кусается!

Неохотно беру свою тарелку и сажусь за краешекъ стола. Гость на меня поглядываетъ. Я настораживаюсь.

— Расскажи-ка, Терентьевна, что-нибудь! Будетъ жеманиться!—упрашиваетъ хозяинъ. Хитро прищурившись, онъ хлопаетъ меня по плечу.

Смотрю на него покраснѣвшій носъ, на блестящіе глаза съ красными жилками.

— Клюкнулъ малость!—поясняетъ, наклонившись къ моему уху хозяина:—дѣло въ торговлѣ хорошо повернулось. Да вы не сумлѣвайтесь, онъ завсегда держитъ себя въ аккуратѣ, а тотъ даже не пиль николько.

— Да чего же мнѣ разсказывать? Про жизнь нашу деревенскую, что ли?

— Ха-ха-ха! — закатывается хозяинъ, подмигивая гостю:—«Про жизнь деревенскую!» А чай и не нюхала деревни-то! Терентьевна, нюхала? Сколько у козы ногъ? А? Ха-ха! Уморила! право слово, уморила! Ну-ка, Терентьевна, покажи-ка лучше, какія нынче прислуки въ міру-то завелись!

Что это? Уже разболталъ? Соображая, какъ бы его укротить или перемѣнить тему разговора, уношу тарелки на кухню, гдѣ хозяйка возится съ горячими блинчиками.

— Вы не серчайте,—успокаиваетъ она меня:—гостя тоже просвѣтите, онъ хорошій. Какъ мой рассказалъ про васъ, такъ тому и не терпится, съ четырехъ часовъ сидитъ, васъ все ждетъ. Безпремѣнно хочетъ послушать васъ.

Дѣлать нечего. Черезъ минуту меня засыпаютъ всевозможными вопросами. Какъ могу, удовлетворяю ихъ любопытство. Взамѣнъ и у нихъ учусь, разспрашиваю про мѣстные порядки. И Кронштадтъ, представлявшися мнѣ до сихъ поръ какъ нѣчто символическое, отвлеченнное, облекается для меня понемногу въ плоть и кровь. Какъ мѣстные сторожилы, они знаютъ все, вплоть до замятаго властями дѣла о систематическомъ растлѣваніи малолѣтнихъ дѣвочекъ, въ которомъ были замѣшаны высшіе военные и

гражданскіе чины, или до недавняго самодурнаго приказа коменданта—закрывать въ мѣстной гимназіи за дерзость одного ученика цѣлый классъ, а родителей гимназистовъ, провинившихся въ непочтеніи къ властямъ, подвергать либо штрафу въ 1000 руб., либо тремъ мѣсяцамъ тюрьмы, либо высылкѣ изъ города.

Долго засиживаемся за разговорами. При прощаньи гость суетъ мнѣ въ руку денегъ «на революцію» и проситъ:

— А вотъ кабы вы мнѣ въ домъ тоже Терентьевну нашли!

— Да гдѣ же я ее возьму?
— Да право, я вѣдь всурѣзъ. Жена будетъ рада. Какъ хорошо знающаго человѣка въ домѣ имѣть, обо всемъ спросить можно.

Ну, совсѣмъ малая дѣти!—думаю я, убирая комнаты и глядя на счастливыя лица хозяевъ. Какъ къ игрушкѣ, тянутся они къ огню, который загорѣлся передъ ихъ глазами, тянутся,—и не хотятъ думать, что огонь жжется.

ГЛАВА VI.

Среди матросовъ.

Собрание на барской квартирѣ, на одной изъ лучшихъ улицъ Кронштадта. Прислуга, видимо, отпущена, меня впускаетъ сама барыня, съ удивленіемъ оглядывая мой деревенскій нарядъ.

Изящное убранство свѣтской гостинной: вазочки, цвѣты, люстры, зеркала, тяжелыя портьеры. И среди всей этой роскоши, на богатомъ коврѣ, вперемежку съ мягкими креслами, пуфами, этажерочками и столиками,—довольно большая группа матросовъ съ ихъ такъ странно здѣсь звучащимъ грубоватымъ жаргономъ, съ ихъ вѣчными разсказами все про тотъ же осенний бунтъ.

— А, здравствуйте!—радостно, какъ старую знакомую, привѣтствуетъ меня Калмаковъ, съ которымъ я уже встрѣтилась въ Петербургѣ:—Вотъ и ладно, что пріѣхали!

Я сразу окунуюсь въ матросскій міръ, въ кругъ ихъ интересовъ, думъ и чаяній, порою тревожныхъ, но чаще по молодому удалыхъ и беспечныхъ.

Слушаю про офицера, который во время бунта убѣжалъ въ матросскомъ платьѣ, про «шкуру», котораго жена въ сундукъ заперла, про другого, со страху залѣзшаго въ горячую печку. Слушаю про месть и издѣвательства начальства послѣ бунта, особенно надъ «зачинщиками», попавшими въ тюрьму.

— Ну, да и мы имъ тоже спуску не давали!—повѣ-

ствуетъ Сорокинъ, долговязый, широкоротый, нескладный матросъ:—они свое,—и мы свое! Не по закону, говорю, лупщете нашего брата, жаловаться буду! А тѣ:—Какъ ты это сказалъ? Не по закону? Какъ не по закону?—А такъ вотъ, очено просто, говорю,—мы не штрафованные.—Что? что? Повтори-ка еще? Да я тебя!..—и самъ на меня съ кулаками.—Посмѣй только, думаю про себя, я тебѣ такой сдачи сдамъ, что захлебнешься!

Сосѣдъ Сорокина, невзрачный рыжій матросикъ, до сихъ поръ сидѣвшій тихо, широко и добродушно улыбается.

— Онъ, Егоръ-то, у насъ бядовый!—указываетъ онъ на Сорокина:—Почитай что не выходилъ изъ карцера, такъ утруждалъ ихъ благородія. И чуть выйдетъ, опять за свое! И завсегда ухмыляется! Его честятъ,—а онъ себѣ ухмыляется, да и только! Больше всего этимъ и донималъ: его честятъ, а онъ ухмыляется!

— Нравъ у меня такой!—весело поясняетъ Сорокинъ, сверкая и улыбкой, и глазами, и зубами, и всѣмъ своимъ задорнымъ, скуластымъ лицомъ:—Чѣмъ они грозяне, тѣмъ у меня задору больше! «Морду, кричить, твою поганую сворочу!»—«Не смѣете!»—говорю.—«Замкни хайлю, с. с.»!—«Замокъ, говорю, забылъ купить!» Какъ въ кіятрѣ, право! А бить,—ни, даже краешкомъ этакъ меня не коснулись,—опасались; другихъ только били. Зато карцеръ ли, или тамъ линейки этакущія огромадныя, часами съ ними ставили.

— Какъ линейки, зачѣмъ?

— Наказаніе этакое. Веревки ажно тѣло рѣжутъ, грудь вся сперта, дыхнуть нельзя, не то что пошевелиться. Часами этакъ ставили. А мнѣ все ни по чемъ, потому дальше солнца не сошли, глубже земли не закопаютъ, хуже смерти не накажутъ. А смерть,—этого добра мы въ глаза видали,—не страшно!

Его маленькие глазки со снопами веселыхъ морщинокъ во всѣ стороны не переставая щурятся и смѣются. Лицо безъ красокъ, какого-то буро-сераго цвѣта, съ такой же растительностью, неправильное, некрасивое. Но столько въ немъ неистощимаго веселья, задора и игриваго, добродушнаго юмора, что невозможно оторваться.

— Ну, почему вы все радуетесь? Съ чего вы такой?—невольно вырывается у меня.

— Я-то? Я сибирской, подъ елкой родился! Эхма, елки нашенскія, зеленыя! Лѣса наши сибирскіе!—восхищенно взмахиваетъ онъ руками, по своему отвѣчая на мой вопросъ,—и повертываясь ко мнѣ, добавляетъ:—А радоваться, барышня, есть чему: изъ мужлана косолапаго, изъ остолопа деревенскаго, матросъ входить въ настоящее званіе сталъ,

смѣлости набрался, и себя понимаетъ, словно шваброй мозги у него прочистили.

Приходять все новыя лица. Противъ меня усѣлся высокій, черный, кряжистый матросъ. Что-то большое и нескладное, но крѣпкое вошло вмѣстѣ съ нимъ въ комнату.

— Кто это?—уже какъ къ давнишнему знакомому, наклоняясь я тихонько къ Сорокину.

— Этотъ-то? Это у насъ Глѣбко, изъ второй дивизіи, ундерфцерскій щинъ, по нашему квартирмейстеру. Гляньте, глыбища—то какая! Цѣлая камень-скала! И по карактеру такой же. Одно слово,—хорохъ!

Сходство схвачено вѣрно: на глыбу цѣльного, еле отесанаго камня походитъ этотъ «ундерфцерскій щинъ». Глядя себѣ подъ ноги, онъ молча слушаетъ разговоры. Поперекъ лба легла глубокая складка, отчего густыя на висція брови кажутся сросшимися, придавая и безъ того угрюому лицу выраженіе суровой замкнутости. Квадратная съ выступами голова прочно сидѣла на широко раздвинувшихся плечахъ.

— Съ глушицкой мы были по осени!—загудѣлъ онъ густымъ басомъ:—чего тамъ, себя нужно ругать! Темнота насъ сгубила, дурость наша дурацкая! Да только теперь крышка! По другому все устроимъ!

— Не начать ли, товарищи?—подходитъ Димитрій:—кажется, всѣ въ сборѣ!

Говоръ стихаетъ. Первымъ береть слово Калмаковъ. Онъ говорить о томъ, что насталъ для собравшихся, для всѣхъ матросовъ, для всего флота, великий день: закладывается первая военная организація въ Кронштадтѣ, о томъ, насколько она необходима, какое огромное значеніе имѣтъ,—говорить вѣско, проникновенно, съ частыми перерывами; скажетъ слово,—и подождетъ, чтобы улеглось оно прочно въ уши и сердца слушателей.

— Да вѣдь и мы о томъ же! Знамо, за тѣмъ и пришли!—откликается кто-то.

— Ты о самой сути-то, Николай, поболѣ!

— Ты намъ эту самую организацію-то, главное, разъясни, что это за шутка такая! А мы уже зубами вѣпимся, чтобы покрѣпче удержать ее!

Загудѣлъ матросскій рой. Обращаясь постоянно въ нашу сторону, заговорили всѣ разомъ, каждый о томъ, что у кого наболѣло на сердцѣ и созрѣло въ головѣ. Но основная тема ихъ рѣчей одна и та же: духовный голодъ, нетерпѣливая жажда помоши со стороны интеллигентій, горькая обида на безконечно долгое ея отсутствіе...

— Что намъ дѣлать-то было?—сердито говорить великанъ съ некрасивымъ лицомъ и выпяченными впередъ губами, по фамиліи Недотрогинъ:—По осени явились ора-

торы, словно прожекторомъ все освѣтили, а потомъ пуще прежняго мракъ насталъ. Каково намъ было-то?

Онъ поднимаеть кверху глаза, отчего весь лобъ его бороздится глубокими морщинами и складки около рта обозначаются до непріятности рѣзко:—Безъ компасныхъ людей какъ управиться?

— Вотъ у насъ компасный человѣкъ!—солидно похлопываетъ по плечу Колмакова Глѣбко.

Недотрогинъ угрюмо исподлобья взглядываетъ на Колмакова, будто даже не совсѣмъ доброжелательно.

Хорошо, товарищи!—рѣшительно приподнимается Никита. Его блѣдное всегда лицо разгорается:—Не рвите намъ сердце. Не по своей винѣ не Ѹхали. Лучше о будущемъ поговоримъ. Вотъ мы прїѣхали втроемъ помогать вамъ. Только чтобы обману не было! Въ военныхъ дѣлахъ мы, какъ коза въ градусникѣ, ничего не смыслимъ. Коли дойдетъ до возстанія, вамъ ужъ на себя нужно полагаться. А во всемъ остальномъ, сколько силъ хватить, помочь будемъ. Вы—хозяева революціи, мы—ваши помощники.

По нѣкоторымъ лицамъ пробѣгаеть явная тѣнь недоумѣнія, даже разочарованія.

— Ну, что обѣ этомъ толковать, кто хозяинъ, кто помощникъ! Всѣ товарищи!

То, что хотѣлъ подчеркнуть Никита,—наша чисто вспомогательная роль,—остается какъ-то скомканымъ, не дошедшімъ до сознанія слушателей. Говорять про гуляющихъ матросовъ, собирающихся въ плаваніе, про опасность новой пьяной вспышки, торопятъ насъ скорѣй составить, напечатать и распространить уставъ организаціи, скорѣй достать больше книжекъ, больше ораторовъ... Требованія, просьбы, мольбы, горящіе глаза, беспорядочное пересказываніе съ одного вопроса на другой... И во всемъ этомъ,—я чувствую, я съ ужасомъ чувствую,—сквозитъ невысканная, но безпредѣльная вѣра въ чудодѣйственную силу партіи и въ насъ, ея представителей.

— Да будетъ вамъ, будетъ!—хватаются за голову Дмитрій и Никита:—Чай не волшебники мы! Дайте намъ шапку-невидимку да коверъ-самолетъ, а то сапоги семиверстные,—мигомъ все вамъ представимъ!

Собрание въ полномъ разгарѣ. Вдругъ изъ-подъ двери со звономъ выкатывается мѣдная монетка, а слѣдомъ за нею, оттопыривъ губки и неувѣренno покачиваясь на пухлыхъ ножкахъ, въ комнату вѣгааетъ трехлѣтняя дѣвочка. Завидѣвъ много чужого народа, она останавливается въ недоумѣніи и нерѣшительности. Черный матросъ, страшный своей худобой, весь поддается впередъ, поднимаеть монетку, протягиваетъ ее ребенку и, изъ всѣхъ силъ стараясь смягчить грубый голосъ, ласково говоритъ:

— Иди, барышня, иди! Не бойся, касаточка!

Дѣвочка недовѣрчиво смотрѣть на его просмоленную руку, на него самого, на другихъ.

— Зайчикъ, зайчикъ!—вдругъ радостно вскрикиваетъ она, хлопая въ ладоши.

— А, зайчикъ! А вотъ мы его сейчасъ словимъ!

Кто-то легонько толкнулъ зеркало. Кружки отъ солнечного луча весело забѣгали по стѣнѣ. Матросъ бережно береть ребенка на руки и поднимаеть къ зайчикамъ. Маленькая, пухлыя рученки протягиваются и шлепаются о стѣну, ловя зайчика. Все тѣльце трепещетъ и дергается въ радостномъ восторгѣ. А мать стоять неподвижно въ дверяхъ и, преисполненная ласки и гордости, смотрѣть на свое сокровище.

У всѣхъ собравшихся словно что всколыхнулось въ душѣ. Непривычная нѣжность струится изъ глазъ суроваго матроса-нянѣки; весь до ушей расплылся Недотрогинъ, забывъ расправить морщины на лбу; смѣшно—будто сердито, дергаетъ ушами Глѣбко; ерзаетъ и порывается къ дѣвочкѣ непосѣда—Сорокинъ; тихо лучится Колмаковъ; даже рыжеватый сосѣдъ Сорокина, сидѣвшій все время неподвижно и съ благоговѣніемъ смотрѣвшій въ ротъ Никитѣ и Дмитрію, даже онъ добро-добро улыбается, склонивъ, какъ пѣтухъ, голову и глядя на дѣвочку однимъ глазомъ.

Ребенокъ упирается, не желая уходить изъ комнаты.

— Пойдемъ, дѣтка! Нельзя мѣшать дядямъ: они хотятъ много-много веселыхъ зайчиковъ для всѣхъ дѣтокъ сдѣлать!—говоритъ мать, беря ее на руки.

Уже закрылась за ними дверь, а матросъ, спустившій съ рукъ дѣвочку, все еще стоитъ въ прежней позѣ. Кругомъ него движеніе, шутки, смѣхъ. Кто-то подтолкнулъ его локтемъ. Онъ вздрогиваетъ, вздыхаетъ и молча, ни на кого не глядя, опускается на свое мѣсто на полу.

— Не тужи, Силантьичъ!—треплетъ его по плечу Сорокинъ:—сдѣлаемъ революцію,—поѣдешь къ дочкѣ на побывку. А то въ Кронштадтѣ выпишешь сироту. Будетъ она наша, будто всѣхъ воспитанница. Право! А они,—указывая на насъ,—образованной ее сдѣлаютъ. Не стоящее дѣло матросу тосковать! Брось, право!

Заговорили о матросахъ, ходившихъ нынче зимою на усмирение въ Прибалтійскій край. Злоба и негодованіе сдавливаютъ грудь, голоса становятся чужими, жесткими, дрожать губы. То и дѣло поминаютъ про кондуктора Ягунова, добивавшаго разстрѣливаемыхъ, не знавшаго пощады даже для малыхъ дѣтей. Обсуждаютъ, что дѣлать съ усмирителями.

— Чего рѣшать? Безъ насъ рѣшено: бывать ихъ у насъ, кровопійцевъ!

— Бойкотъ Каинову племени!

— Опоганили матросскую честь!

Одинъ только Калмаковъ не участвуетъ въ этомъ всеобщемъ проклинаніи. Онъ долго сидитъ молча и вдругъ, какъ бы рѣшившись, начинаетъ страннымъ, сдавленнымъ голосомъ.

— Такъ ли, братцы? Ладно ли?

— А что, по твоему, жалѣть—сволочей?—накидывается на него Недотрогинъ.

— Да я,—вопіетъ Сорокинъ,—въ тюрьмѣ радъ былъ, кажется, стѣнку зубами изгрызть, чтобы только добраться до нихъ, да задушить ихъ, каиновыхъ иродовъ!

— Не дѣло, товарищи! — возражаетъ Калмаковъ.—Я про Ягунова не говорю. Ему... ему въ самый разъ свинцовый подарокъ!—не сказалъ, а словно молоткомъ по чугуну пробилъ онъ, весь энергично выпрямившись:—А вотъ кто по неволѣ шелъ, тѣхъ тоже убивать?

Недотрогинъ зло сопитъ.

— Меня бы по неволѣ не заставили!—не унимается Сорокинъ.

Что взять съ темнаго человѣка!—продолжаетъ Калмаковъ:—А вѣдь вы имъ ходу не даете никакого, дохнуть, прямо сказать, не позволяете. Какъ-то намеднись я книжку вслухъ читаль товарищамъ, запрещенную. Усмиритель тутъ же лежалъ, укрывшись съ головой одѣяломъ. Вдругъ какъ вскочить, весь дрожитъ, за голову хватается, словно не въ разумѣ человѣкъ:—Затравили!—кричитъ.—Какъ волка затравили! Человѣкъ вѣдь я! Все равно вѣдь, что штыки были къ нашимъ грудямъ приставлены! Какъ было ослушаться! За что насть распинаете?

— Ишь, проняло гадину! Какую книжку-то читалъ ты?

— Проняло! совѣсть зазрила!

— То-то что совѣсть!—радостно подхватываетъ Колмаковъ:—А теперь парень къ книгѣ присосался, отбою нѣтъ!

Постановляютъ: выпустить прокламацію съ описаніемъ звѣрствъ въ Прибалтійскомъ краѣ, въ частности подвиговъ Ягунова; его самого убить; а къ остальнымъ стараться подходить по добруму, «глаза имъ на свѣтѣ разувать».

Возвращаюсь домой уже вечеромъ. Прямо передъ глазами горитъ и искрится большая лучистая звѣзда. Вспомнились угнетающія переживанія истекшей зимы: трупы, каркающіе вороны, и молчаніе, зловѣщее молчаніе въ странѣ. А теперь стѣна, въ которую, казалось, уперлась жизнь, раздвигается, и такъ заманчиво, такъ обѣщающе свѣтъ дали...

ГЛАВА VII.

Насъ объединяютъ.

23-е апрѣля.

Сегодня Егорьевъ день, праздникъ весны. Съ ранняго утра на улицахъ толпы народа. Передъ церковью—бараны съ позолоченными рогами, телята и коровы съ бубенцами, овцы и поросыта, разукрашенные лентами и цвѣтами. Все это визжитъ, блеетъ, мычитъ, хрюкаетъ. Мальчишки неистово рѣжутъ уши свистульками. Вокругъ меня шуршатъ туга накрахмаленныя юбки женщинъ, пестрятъ галстуки мужчины, лица сіяютъ удовольствіемъ,—весна пришла!

Кончается церковная служба. Городовые расчищаются путь для крестнаго хода. День яркій, солнечный. Блестять иконы и хоругви, рдѣютъ свѣтлыя ризы священниковъ. Стройное пѣнье хора сливается съ людскимъ гомономъ и ревомъ животныхъ. Шумно! Весело!

Открываются монопольки. Длинными хвостами люди протискиваются къ заповѣднымъ дверямъ. Тутъ же за угломъ хлопаютъ пробки. Все чаще попадаются пьяные матросы.

А надъ головами, перебивая другъ друга, смѣшиваясь и дробясь, заливаются праздничные, тоже словно слегка выпившіе и радостно возбужденные колокола: «Приди къ намъ! Приди къ намъ! Къ намъ! Къ намъ!» Наполняютъ собою городъ и, кажется, бросаются въ пространство какую-то большую, яркую радость.

— Дер-р-ржи!—вдругъ раздается пронзительный крикъ. Толпа шарахается, чуть не сбивая меня съ ногъ. Словно порывъ вѣтра снесъ все благодушіе и праздничную безпечность. Съ испуганными лицами люди мечутся, куда попало, хлопаютъ ставни и калитки, поднимается дикая суматоха.

Встревоженная, устремляюсь за толпою. Такъ и есть: драка у монопольки.

Сердце во мнѣ падаетъ. Тревога, сначала неясная, оформливается. Неужели опять, опять какъ осенью? Черезъ минуту людской потокъ хлынетъ, разольется по городу... А мы? Какъ осенью, будемъ хвататься въ безсильномъ отчаяніи за волосы? Но вѣдь это же невозможно! Недопустимо! Это было бы такой насмѣшкой надъ разумомъ, надъ человѣкомъ, надъ всѣмъ святымъ!

Съ трудомъ сдерживаю рвущіяся изъ души крикъ: «Люди добрые, помогите! Да помогите же скорѣ! Не дайте свершиться ужасному преступленію!» Пробую что-то говорить, кого-то усвѣщевать, къ чему-то кого-то призывать. На меня устремляются глаза мальчишки-посача. Такой холдный цинизмъ, такая брезгливая жестокость, и вмѣстѣ съ тѣмъ такие животные огоньки въ этихъ цыганскихъ

глазкахъ,—что сердце у меня съеживается отъ тупой безнадежности. Такого взгляда я никогда еще не видала, и никогда его не забуду. Я тутъ впервые поняла, что всему можетъ быть предѣль, но паденю души человѣка нѣтъ предѣла. И я словно окаменѣла...

Вотъ что-то кричатъ, пробираясь впередъ, матросы, посачи, солдаты. Другіе, выброшенные изъ свалки, красные и возбужденные, тоже кричатъ, образовывая новыя группы. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ завязывается уже драка между пѣхотинцами и матросами. Посачи улюлюкаютъ, свищутъ...

Вдругъ въ самую гущу толпы врѣзается, работая энергично локтями, новая группа матросовъ.

— Ура! Наша береть! На подмогу, товарищу!—привѣтствуютъ ее пьяные матросы. Но странно суровы лица вновь пришедшихъ, озабочены и блѣдны. Среди нихъ мелькнуло, какъ будто знакомое, лицо великана съ выпяченными губами и страшнымъ взглядомъ злыхъ глазъ.

Наконецъ, я соображаю: да вѣдь это наши! Ихъ сильные локти расталкиваютъ въ разныя стороны толпы зѣвакъ, они неудержимо пробираются къ мѣсту свалки. Не проходитъ и трехъ минутъ, какъ дерущіеся уже укрошены: солдаты лежатъ на землѣ, связанные; матросы выведены изъ круга и въ сопровожденіи прибывшихъ быстро удаляются по улицѣ.

— За посачами-то вы поглядывайте! Ишь, глазмя-то такъ и стрѣляютъ, ироды!—кидаѣтъ публикѣ, уходя, матросъ-великанъ, котораго я теперь окончательно признаю.

Никто ничего и сообразить не успѣлъ, какъ мѣсто побоища уже зіаетъ пустотою. Посачи поспѣшно скрываются въ толпѣ. Смотрѣть больше не на что.

— Видали молодцовъ? а?—слышу я сзади радостный голосъ Никиты:—Это вѣдь наши, съ Недотрогинымъ во главѣ, нарочно по случаю праздника для обхода назначены! Здорово отработали!

Никита тащить меня куда-то, увлекая изъ толпы. Оказывается, нѣсколько солдатъ-соціаль-демократовъ привели къ намъ своихъ интеллигентовъ для переговоровъ объ объединеніи.

Соціаль-демократы! Горкія воспоминанія тучей поднимаются въ душѣ и омрачаютъ радость минуты. Сколько боли, сколько горечи пережито изъ-за партійной нетерпимости при столкновеніяхъ съ ними! И ничего, кроме горечи и боли! Никогда, никогда не забыть мнѣ, какъ соціаль-демократки на нашихъ курсахъ встрѣтили бурными аплодисментами провалъ предложенія о посылкѣ привѣтственного адреса Егору Сazonovу,—Сazonovу, который въ это время судился, надъ головой котораго висѣлъ смертный приговоръ!

Чего хотятъ отъ насъ эти люди? Зачѣмъ пришли они? Входимъ въ домъ. Всѣ кидаются къ Никитѣ узнать, что произошло, чѣмъ все кончилось. Никита успокаиваетъ: все благополучно. На него почему-то набрасываются.

— Сейчасъ справились,—значитъ, и ладно? а можетъ тамъ опять гдѣ полыхаетъ? развѣ патруль можетъ всегда за всѣмъ углядѣть?

Смыслъ этихъ упрековъ начинаю понимать, прислушавшись къ разговорамъ.

— Можетъ-быть, тамъ катаѳасія, а вы въ это время «буржуями» да всякими глупостями промежъ себя коритеся!—негодуетъ вислоусый матросъ по кличкѣ Русь, съ худымъ лицомъ въ черной заросли и съ спрятавшимися глазками-мышками:—Тамъ горить, прости Господи, а они... про партійность!

Солдатъ съ сѣрымъ лицомъ, минеръ Комовъ, за минуту казавшійся милымъ славнымъ добрякомъ, подхватываетъ, какъ по уговору, весь нервно и зло дергаясь:

— Зачѣмъ промежъ себя сумятица? Вѣдь мы ссоримся, а врагъ крѣпнетъ, съ силами собирается. Возьмите нашу минную роту, велика ли? А случись выступленіе,—какой разбродъ получится! Одни за однимъ комитетомъ пойдутъ, другіе за другимъ,—не приведи Богъ, что получится! Нѣтъ, ужъ довольно этого!

Одинъ изъ комитетчиковъ —«эсдэковъ», Ефимъ, неудоменно разводитъ руками. Онъ волнуется и самымъ искреннимъ образомъ удивляется, какъ это можно объединяться, когда есть разныя, цѣлостныя, выкованныя программы, которыхъ «бѣлыми нитками не сошьешь!» У Ефима худая, съ острыми лопатками плечи, на которыхъ болтается дешевый вылинявший пиджачекъ. Онъ часто мигаетъ близорукими глазами и нервно пощипываетъ жиidenькую бородку.

— Да вы поймите!—кричитъ ему Русь, при чемъ его глазки-мышкы отъ возбужденія вылѣзаютъ изъ своихъ щелей:—Земля подъ нами горитъ... Первое мая не за горами. Весь городъ въ тревогѣ, начальство наготовѣ, всѣ че-го-то ждутъ... У матросовъ гулянки передъ отправкой... Тутъ каждый секундъ жди грозы! А вы... не нашли лучше времени изъ-за программъ счеты сводить! Перебранкой нась просвѣщать!

— Намъ ни эсэры, ни эсдэки не нужны, понимаете?—черезъ минуту снова кричитъ онъ, уже тряся кулакомъ подъ носомъ Ефима:—Намъ одна партія нужна, одна, единая, которая сплачивала бы нась, а не разъединяла. Мы—народъ, мы должны быть одной партіей, врагъ у нась общи: самодержавіе и буржуазія! Коли вы межъ собою не

поладите, мы и безъ васъ соединимся, и безъ васъ работу наладимъ!

Мнѣ становится мучительно стыдно за себя и за интеллигентовъ вообще передъ этими цѣльными, чистопробными людьми. Это сама жизнь «призываетъ насъ къ порядку», — какъ же не послушаться ея? Какъ не потянуться всей душой къ ея выразителямъ?

А интеллигенты, не только Ефимъ, но и мои товарищи, Дмитрій и Никита, совсѣмъ не очарованы. Изъ ихъ устъ льются тусклыя, расхолаживающія рѣчи: «Все это хорошо, — говорятъ они, — но бѣда въ томъ, что вмѣсто объединенія получается только бесконечные разговоры и тренія, однимъ словомъ еще большій тормазъ въ работе».

Второй эсдѣкъ, Маркъ, слушаетъ, призадумавшись. «Такъ этого оставить нельзя» — слышу, шепчетъ онъ на ухо Ефиму: — Ясно, мы рискуемъ потерять всякое влияніе на массу...

— Бублики! Бублики! — врывается вдругъ съ улицы визгливый крикъ торговки, заглушая рѣчъ Ефима, который упорно твердитъ о вредѣ компромиссовъ, о необходимости сохранять въ чистотѣ всѣ партійные принципы, о несгибаемости тактики.

— Вотъ оно и есть: «бублики»! — прерываетъ его Русланъ: — Право слово, какъ торговки: «Тактика», «не сгибаться принципу», а на дѣлѣ, — что въ лавочкѣ, всякая партія свой товаръ выхваляетъ. Мои-де бублики — первый сортъ, а вотъ сосѣдка немытыми руками мѣсить, въ муку песокъ подсыпаетъ! Подымаютъ на три улицы крику, а о дѣлѣ-то и не думаютъ!

Въ концѣ-концовъ побѣда остается за «низами». Рѣшено съ завтрашняго же дня образовать Временное Техническое Бюро изъ трехъ человѣкъ отъ каждой партіи. Его функции:

1. Не дозволять пререканій и ругани на митингахъ.
2. Доставлять литературу обоихъ направленій на суда и въ казармы.
3. Назначать по праздникамъ патрули для наблюденія за порядкомъ въ городѣ и въ это же время собирать въ опредѣленной квартирѣ комитеты обѣихъ партій, чтобы въ случаѣ тревоги патруль могъ всегда найти ихъ.
4. Выработать возможно скорѣе тѣ основанія, на которыхъ могли бы объединиться обѣ организаціи для постоянной работы.

Во Временное Бюро попадаютъ только солдаты и матросы. И вотъ, черезъ нѣсколько дней они собираются уже расширенное собраніе.

Накурено, шумно, людно. Въ комнату набилось до сорока человѣкъ. Среди новыхъ, соціалъ-демократовъ, выдѣляется не то нѣмецъ, не то латышъ Карлъ. У него бѣлые волосы, бѣлая, безкровная кожа и тонкія, крѣпко скоженные губы. Весь онъ какой-то отদѣленный, чистый, корректный. На первый взглядъ кажется холоднымъ его гладкое, безъ единой морщинки лицо. Но дѣтская, подкупающая улыбка сразу мѣняетъ его выраженіе. Онъ умѣеть слушать, умѣеть дать высказаться другимъ, часто уступая имъ свою очередь. У него необыкновенная способность сохранять объективность. И во всемъ сквозитъ рѣдкая интеллигентность и огромная самодисциплина.

Наши и соціалъ-демократы сразу перемѣшались и слились воедино. Всѣ военные, всѣ товарищи. Партийные перегородки, столь крѣпкія у насть, интеллигентовъ, здѣсь какъ будто рукой сняло. И какъ-то само собою вышло, что вопросъ сразу ставится ребромъ:

— Ну, что-жъ, товарищи, на сломъ сдавать старыя организаціи? Одну будемъ строить, крѣпкую, объединенную?

Вотъ когда подвергается послѣднему испытанію привычная фракціонная твердость и преданность «нашихъ», Никиты и Дмитрія. Словно ножомъ по сердцу рѣзнуло ихъ это «на сломъ». Не слишкомъ ли все это поспѣшно? Достаточно ли знаютъ другъ друга члены обѣихъ организацій? Не рождаются ли изъ всего этого нелады? И если даже нынѣшніе работники сумѣютъ спѣться, будетъ ли то же съ ихъ замѣстителями? Да и какъ еще посмотреть на все это партійные верхи!

Изъ «друго-враговъ» къ Дмитрію и Никитѣ примыкаетъ догматикъ Ефимъ. И онъ думаетъ, что лучше сохранить обѣ организаціи порознь, довольствуясь прекращеніемъ распрея на митингахъ, да періодическими совмѣстными засѣданіями для объединенія работы. Но его товарищъ, Маркъ, уже рѣзко и рѣшительно перешелъ на сторону большинства рядовыхъ членовъ.

— Масса не знаетъ и знать не хочетъ, что такое партійная различія. Это мы — интеллигенты — хотимъ раздѣлить ее, привить ей нашу собственную нетерпимость, возвести искусственныя перегородки. Массу тѣснить эти рамки. Къ чорту всякую половинчатость! Одна должна быть организація! Братство, — такъ братство! Единеніе, — такъ единеніе! Довѣріе, — такъ довѣріе! — отсѣкаетъ онъ, жестикулируя, короткія, энергичныя фразы.

Все собраніе почти поголовно за него. Со всѣхъ сторонъ сочувственныея реплики и возгласы одобренія:

— Развѣ дѣло не одно? Развѣ не одна смерть впереди у всѣхъ? А вы дѣлежку проповѣдуете: наше да ва-

ше, мое да твоё! Развѣ такъ подобаетъ соціалистамъ? Ужъ коли мы идемъ на такое великое дѣло, вступаемъ на свѣтлый правый путь, такъ все старое по боку! Одно дѣло, — одна душа!

На меня эти, почти вдохновенные призывы, дѣйствуютъ неотразимо. Да, да, пойти по нему, по этому свѣтловому пути, ничего не взявшіи съ собою отъ старого, ни вражды, ни подозрительности другъ къ другу. Чистыми и довѣрчивыми, какъ дѣти, войдемъ мы въ новое царство... Или это — сантиментальное фантазерство?

Такъ, видимо, думаютъ Дмитрій, Никита и Ефимъ. Они крѣпко цѣпляются за оставленіе въ силѣ прежнихъ партійныхъ организацій и наконецъ успѣваютъ спасти ихъ отъ роспуска. Онѣ останутся, но нѣсколько разъ въ мѣсяцъ будетъ собираться высшая объединенная инстанція, объединенное Гарнизонное Собраніе, рѣшенія котораго будутъ обязательны для всѣхъ.

Масса солдатская довольна и этимъ. Впрочемъ, она не очень ясно разбирается во всѣхъ различіяхъ двухъ проектовъ — полнаго и неполнаго объединенія. Для нея хорошо уже и то, что кончились наконецъ ненавистные споры и разговоры, и можно сообща переходить къ дѣлу.

Одинъ Маркъ глубоко неудовлетворенъ.

— Чѣмъ сильна революція? — говоритъ онъ намъ возбужденно и страстно: — Идеализмомъ, массовымъ подъемомъ! А вы его гасите. Полнота должна быть во всемъ, понимаете! пол-но-та! А не ущерблность!.. Да понимаете ли вы, — эхъ, вы, теоретики! — что это значитъ: НАРОДНОЕ ДВИЖЕНІЕ, ШИРОКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНІЕ, какъ лава, изливающаяся изъ кратера, выпираемая невѣдомыми намъ мощными стихійными силами! А вы... вы... Эхъ!

Онъ говоритъ это намъ, интеллигентамъ. Но стоящіе по близости матросы слышать его. Поняли ли они, или, не вполнѣ уяснивъ смыслъ его словъ, чутьемъ постигли одушевлявшее его чувство, или просто стало имъ жалко, что мало поддержали его и пошли на уступки, — но нѣсколько матросовъ подходятъ къ нему и, хлопнувъ по плечу, душевно говорятъ:

— Ты, братъ, нашъ! Ты совсѣмъ нашъ!

Не можетъ еще окончательно сдаться, въ свою очередь и Ефимъ.

— Какъ это мыслимо, чтобы Гарнизонное Собраніе выбирало моментъ для возстанія! Это же прерогатива партії! — озадачено бормочетъ онъ.

Надъ нимъ добродушно подтруниваютъ:

— А что жъ намъ, по-твоему, черезъ море надо было летѣть въ Егорьевъ день, когда свалка у монополіи начаилась? искать твои комитеты и разрѣщенія у нихъ спрашивать?

— Нѣтъ, братъ, тутъ ужъ такое дѣло: занимается пожаръ, такъ либо сейчасъ же туши, пока не разгорѣлся, либо сейчасъ же приставай къ дѣлу, объявляй возстаніе, чтобы перекинуть его съ пьяного бунта на разумную сторону! Тутъ, братъ, съ докладами къ комитетамъ бѣжать некогда!

— А какъ же партія?

Бѣдный Ефимъ! мнѣ хочется подойти и сказать ему, что его партія, — вѣрнѣе, организованные верхи ея, — не самоцѣль, а лишь орудіе революціи; что нечего бояться за партійные прерогативы тамъ, гдѣ народъ достаточно выросъ для того, чтобы взять дѣло революціи въ собственныя руки, что радоваться надо этому, а не бояться, какъ бы не лишили интеллигентовъ ихъ привычныхъ функцій; что только утерявъ чутые живой жизни, можно стоять послѣ такого события растеряннымъ, непонимающимъ и непонятнымъ. И я боюсь, что матросы, судя по Ефиму, будутъ представлять себѣ всѣхъ партійныхъ людей какими-то властолюбцами, дрожащими за свою опеку надъ массой.

Но кругомъ столько оживленія и радости и высокихъ чистыхъ восторговъ, что никто не обращаетъ большого вниманія на оторопѣлость Ефима. Сорокинъ лѣзетъ ко всѣмъ христосоваться. Дмитрій шутить: — Что, братъ марксистъ, въ одну оглоблю съ «мелкимъ буржуа» полѣзъ! А что на это скажетъ папаша-Плехановъ?

Сейчасъ же выбираютъ изъ своей среды Исполнительный Комитетъ, которому поручаютъ немедленно приступить къ выработкѣ плана возстанія на случай стихійной вспышки и къ собиранію нужныхъ для этого свѣдѣній. Чтобы комитетъ могъ собираться часто, онъ долженъ быть очень немногочисленнымъ.

— Вы будете планы сочинять, — шутить Сорокинъ по адресу комитетчиковъ, — а мы въ Гарнизонномъ будемъ разбирать ихъ, одобрять или отвергать. Вы, значитъ, какъ министры, власть исполнительная, а мы, какъ Дума, власть законодательная.

Въ комитетъ попадаютъ Калмаковъ, Глѣбко, Недотрогинъ и одинъ пріятель Калмакова, матросъ, готовящійся въ плаваніе, молчаливый, но очень дѣльный работникъ. Со стороны эсдѣковъ — Русь, Карль, Комовъ и еще двое совсѣмъ незамѣтныхъ матросовъ. А въ концѣ списка, видимъ, — «Актеръ» красуется!

Все время этотъ «Актеръ» мозолилъ намъ глаза. Родомъ изъ купеческихъ сыновъ, одѣтый въ новую щегольскую форменку, плотно облегающую его упитанное тѣло, съ самодовольнымъ холенымъ лицомъ, съ золотыми перстнями на рукахъ, съ витеватыми рѣчами, въ каждомъ звуке которыхъ слышно самолюбованіе, со всѣми манерами

и ухватками провинциального актера,—онъ страннымъ пятномъ выдѣляется среди собравшихся.

— Почему вы выбрали его?

— Да потому, что онъ хорошо языкомъ работает, все можетъ пересказать, о чёмъ на собраніи говорилось.

— Да и отлучиться завсегда можетъ; какъ писарь, онъ свободнѣе другихъ...

— Господи! — хватается за голову Дмитрій.— Товарищи, да неужто всѣхъ брехуновъ, которые свободны, вы должны своими представителями дѣлать? Помилосердуйте!.. Ну, а тѣхъ двухъ почему выбрали?

— А это для справедливости. Нашихъ-то матросовъ вонъ сколько пришло, а эсдэковъ мало. Ну, чтобы не обижать, поровну надо...

И улыбаться заставляютъ своей наивности эти люди, и трогаютъ своей чистотой и органической справедливостью. Не таковъ ли и всегда подлинный народъ! Иной разъ блеснетъ такой моральной высотой и красотой, что чувствуешь себя совсѣмъ уничтоженной со всѣмъ твоимъ образованіемъ, развитіемъ и опытомъ. А то, какъ ребенокъ безпомощный, тянется къ тебѣ за совѣтомъ и наставлениемъ и вызываетъ къ себѣ почти материнское чувство.

ГЛАВА VIII.

Наши усмирители.

Неясный грохотъ вдали, бой барабана. Грязнула пѣсня. Мимо меня проходятъ, всѣ въ пыли, енисейцы и пересохшими глотками тянутъ солдатскую пѣсню. Видимо, возвращаются съ ученія. Многіе изъ нихъ поднимаютъ на меня глаза, быть-можетъ, оттого, что я, сама того не замѣчая, совсѣмъ близцерemonно воззрилась на нихъ, словно желая прочесть, что у каждого на душѣ. Но кромѣ смертной усталости и желанія отдохнуть, въ ихъ глазахъ нельзѧ прочесть ничего.

Смотрю вслѣдъ удаляющейся толпѣ. Облако пыли понемногу скрываетъ ихъ изъ глазъ. Скоро стихаютъ и звуки разношерстного, вялого хора. Вздыхаю и плетусь во-свояси.

Енисейцы! Чужеяднымъ элементомъ вошли они въ Кронштадтъ послѣ стихійного бунта. На караулахъ, на постахъ, заняли мѣста матросовъ, лишенныхъ оружія. Встали стражей въ крѣпости, точно покрывъ собою городъ, придавивъ его беспокойный, революціонный духъ холоднымъ блескомъ своихъ ружей. Чужими, не смѣшанными съ остальнымъ гарнизономъ и населеніемъ, непривѣтливо встрѣченными, жили они въ Кронштадтѣ.

Но вотъ однажды къ намъ является новый гость и рекомендуется: «Родіоновъ—енисеецъ!» Насъ предупредили о его посѣщеніи, мы нетерпѣливо ждали его. Онъ расшаркивается, пожимаетъ всѣмъ руки, ловкимъ движеніемъ беретъ себѣ стулъ и садится. Въ немъ сразу виденъ городской житель, слѣдящій за своими движеніями, помнящий, что онъ въ обществѣ. Онъ видимо волнуется, но довольно удачно скрываетъ это.

— Ну, что ваши? Что такое изъ себя представляютъ? Какие они?—забрасываемъ мы его безпорядочными, нетерпѣливыми вопросами, глазѣемъ на него, чуть не тормозимъ его руками, такъ что онъ прямо растерялся, не зная, какую очередь соблюсти, на что и кому отвѣтить.

— Нашихъ 1800 человѣкъ, какъ же! Цѣлый полкъ! Тысяча восемьсотъ штыковъ, какъ у насъ говорится. Оружія-то и поболѣе будетъ: есть запасныя винтовки на складѣ, есть пулеметы и пушки...

Я такъ много наслышалась о значеніи пѣхоты для возстанія, въ особенности же этого полка. По примѣру семеновцевъ и по другимъ я знаю, во что можетъ начальство превратить полкъ, изолированный отъ народа и находящійся на положеніи усмирителей. Я ловлю и жадно глотаю каждое слово Родіонова, я впиваюсь пытливымъ взглядомъ въ его лицо, словно по одному этому представителю надѣюсь понять тѣхъ 1800 человѣкъ, которые съ штыками въ рукахъ стоять за нимъ. Онъ небольшого роста, худенький, тонкій. Небольшіе сѣрые глаза смотрятъ прямо, спокойно и вдумчиво. Что-то знакомое мелькнуло въ немъ. Калмаковъ? Внѣшней выдержанкой и вдумчивостью онъ, пожалуй, напоминаетъ Калмакова. Но тотъ куда солиднѣе, коренастѣе.

Чего-то жду я отъ Родіонова, какой-то страсти душевной, возмущенія режимомъ, которому подчинены енисейцы и въ которомъ долженъ задыхаться такой сознательный человѣкъ, жду муки изъ-за отчужденности отъ народа, тоски по волѣ и свѣту... А онъ ровно и выдержанно, почти не повышая голоса, разсказываетъ, какъ въ послѣднее время полкъ мѣняется, какъ растетъ настроение протеста, но... сознанія не прибываетъ; какъ начальство само словно нарочно на бунтъ толкаетъ, обворовывая солдатъ, помыкая ими; какъ самъ онъ нескованно радъ, что къ намъ наконецъ попалъ; какъ онъ всю зиму искалъ, но никого кругомъ, ни души не было...

— Ага! Такъ и къ вамъ за ограду микробъ забрался! Повсюду, значитъ!—ликуетъ зашедшій къ намъ Степанъ Ежикъ.

Заходять и другие. Угрюмый Силантьичъ, послушавъ рѣчи Родіонова о вызывающемъ поведеніи начальства,

сверкаетъ глазами:—И пускай! Что съютъ, то и пожнутъ!
А вы чего смотрите? Жарь ихъ во-всю! Пуще хлещи!

— Да что вы, братцы, съ ума сошли!—вопієтъ Дмитрій.—Народъ совсѣмъ безъ сознанія, а по вашему ихъ разжигать надо! Разжечь-то, можетъ, и не трудно,—видимо, само начальство обѣ этомъ старается, чтобы очистить полкъ отъ микробовъ. А что же потомъ? Зажметъ оставшихся въ кулакъ еще пуще прежняго! Нѣтъ, какъ это можно! Тутъ дѣло такое скользкое...

Дмитрій спѣшить ознакомить Родіонова съ положеніемъ дѣлъ въ Кронштадтѣ, съ тактикой, которой рѣшено придерживаться.—А вотъ вы что мнѣ скажите,—допытывается онъ:—Теперь правительство какъ будто всерьезъ хочетъ улучшить материальное положеніе солдатъ,想要 купить ихъ. Какъ это отзовется на вашихъ, если, какъ вы говорите, у нихъ раздраженіе есть, а сознательности совсѣмъ мало? Не уляжется ли въ нихъ весь бунтовской духъ вдругъ, какъ рукой сняло?

Родіоновъ отвѣчаетъ не сразу.

— Не знаю. А только врядъ ли. Видите, я такъ думаю. Бунтуютъ..., изъ-за чего?—Онъ помолчалъ.—Скажемъ такъ: изъ-за неурядицы. Нынче изъ-за мыши во щахъ, завтра изъ-за чего другого,—а въ общемъ все изъ-за процвѣтанія воровства. Ну, а воровство всегда останется. Больше будутъ денегъ отпускать на солдата,—прибыльный будетъ и воровство...

Онъ говоритъ еще что-то, все такъ же обдуманно, не торопясь.

— И чего ты такъ мямлишь? Словно сонная муха кислое молоко цѣдитъ! —вдругъ накидывается на него минеръ Эсерушка, который только что вошелъ въ комнату, а ужъ успѣлъ со всѣми переметнуться парой словъ:— Нѣтъ въ тебѣ духа этого настоящаго! Словно не рѣжешь ты, а выколупливаешь слова!

— Чего зря горячишься, Эсерушка! Онъ дѣло говорить!—унимаетъ его Дмитрій.

Совсѣмъ въ другомъ духѣ оказался второй енисеецъ, полякъ родомъ, по кличкѣ Панъ. У этого все выходить настолько же готово, гладко и хорошо, насколько у Родіонова все тревожно и неутѣшительно.

Недавно Панъ зашелъ къ намъ какъ разъ во время спора Дмитрія съ Хохоленко о томъ, можно ли выступать, готовъ ли Кронштадтъ къ восстанію.

— Ну, а вы, Пане, что про своихъ скажете?—обращается Дмитрій къ енисейцу.

— У насъ? у насъ?—вскинулся тотъ, словно только

и дождался этого вопроса:—Езусъ-Марія! Что у насъ! Комитеты постановлены! Цо? И ротные, и даже батальонны...

И Хохоленко и Дмитрій, захваченные потокомъ его страстной похвальбы, слушаютъ молча. И заинтересованность, и удивленіе, порой и улыбка на ихъ лицахъ. Не улыбка скептицизма, а просто такъ: ужъ очень забавное впечатлѣніе производитъ мѣшанина русскихъ и польскихъ словъ въ его рѣчи. А тотъ, крутя длинные, по-польски опущенные книзу усы, энергично жестикулируетъ и по временамъ вскидываетъ головой съ чувствомъ удовлетворенного достоинства. Весь складный, тонкий, высокій, цѣльный въ своемъ увлеченіи, непосредственный.

— Раньше што было? Столько поптыковъ, сколько грѣховъ на сердцѣ пана Езуса. А теперь! Цо? Може, панове думаютъ, что нашъ поукъ самый послѣдній? Цо? Не-е! Нашъ поукъ.., Хе-хе!—многозначительно крякаетъ онъ и вдругъ понижаетъ голосъ:—Нешастный нашъ поукъ, совсѣмъ нешастный! и служба, и вученія, и караулы изъ-за военнаго положенія; и забивающъ насъ, и затемняющъ, и усѣ, и усѣ на нешастный нашъ поукъ. А чому? Чому никто слова прауды ему не принесъ?.. Но мы покажемъ себя! Еаусъ-Марія! Какъ мѣняется человѣкъ! Якъ идуць, идуць къ той праудѣ!.. На раны боскѣ (божьи)!—вдругъ ударяетъ онъ себя по лбу:—Я за словомъ пришелъ! Родіоновъ говоритъ, бунтоваться не нужно? Чи мы, може не революціонеры? Чи то цо?

— Да, Пане, постановленіе на Гарнизонномъ сдѣлано: сдерживаться отъ всякихъ выступленій. Темный у васъ народъ, не дисциплинированный.

— А я вамъ кажу: какъ укушенный нашъ народъ кидается...

— Вотъ, вотъ! Это-то и опасно: не сумѣютъ сдержаться.. а тутъ и другое такъ же со-слѣпу пристанутъ...

— Но какъ же безъ бунтовъ народъ будетъ расти?—недоумѣнно разводитъ Панъ руками.—Стары люди кажуць: кто пузью ходзи, тотъ самъ собѣ шкодзи. Пропустимъ времія,—намъ же будетъ шкода.

— И этотъ туда же!—всплескиваетъ Дмитрій руками съ комическимъ отчаяніемъ.

— Эгэ! А я жъ кажу: взорвалъ,—гора упала, а копай, —сто лѣть прокопаешься!

Кому вѣритъ? Я хочу попробовать допытаться отъ другихъ солдатъ. Имъ со стороны виднѣе.

Вотъ Ласточкинъ,unterъ-офицеръ каспійцевъ: косая сажень въ плечахъ, грудь колесомъ, усищи чуть не въ четверть аршина книзу опустились. Широкое лицо такъ добродушно, и самъ онъ такъ величественно спокоенъ,

такъ внушительно преисполненъ сознанія своей силы и достоинства, что невольно подчиняешься его солиднымъ, уравновѣшеннymъ отзывамъ.

— Енисейцы? Нѣтъ, не настоящее это въ нихъ, бунты эти. Чтобы всю пѣхоту пропрѣзвить, надо или сто лѣтъ просвѣщенія, или... такую войну, чтобы весь народъ въ крови выкупался, чтобы каждый выскочилъ бы оттудова, какъ ровно бы изъ ада, чтобы «Батюшки, горимъ!» закричали бы, весь въ пламени, закидался бы, воды искали... Вотъ тутъ водой-то этой и будетъ революція, тутъ ужъ отъ нея ничѣмъ не удержишь.

Я хочу сама «вложить персты въ язвы гвоздиныя». И вотъ я у казармъ енисейцевъ, подтолкнутая туда замѣчаніями Ласточкины.

Неужто вся теперешняя работа наша среди пѣхоты—только бирюльки, бирюльки безцѣльныя, бесполезныя?—думаю я, стоя у воротъ въ ожиданіи вызванного мною «земляка» и взирая на безбрюваго скучающаго часового. Его зѣвки... о, эти поразительные зѣвки, смачные, длинные, глубокіе, до слезъ, до иканья! Кажется, разорвѣтъ онъ ими свой ротъ, кажется, весь изойдетъ въ страстномъ истомномъ потягиваніи.

И такъ все время, въ теченіи долгихъ минутъ. Пройдется немножко, волоча по землѣ ружье, остановится, и опять зѣваетъ, зѣваетъ. Прямо нѣчто классическое!

Стоимъ на припекѣ. Видно, распарило у него въ конецъ и мозги и душу; всѣ силы напрягаютъ на безнадежную борьбу съ богатырскимъ насыщающимъ на него сномъ.

— «Сто лѣтъ просвѣщенія, или... сто лѣтъ просвѣщенія»,—сверлять въ моемъ мозгу слова Ласточкина.

При помощи созданной наспѣхъ выдумки про моего мужа—солдата—который уже это по счету? ты, Господи, вѣси!—который «тоже эдакъ же гдѣ-то мается, горемычный, угнали въ дальную сторонушку»,—пробуждаю въ часовомъ участіе ко мнѣ, солдаткѣ; общее угнетеніе, общіе интересы насы связываютъ. Часовой вскрываетъ передо мною болячки внутренней жизни енисейцевъ, оживляется, принимается ругать начальство, такъ и пышетъ злобою.

— Лучшина—то? Гдѣ ее, лучшину-то найдешь? По дорогѣ что ли валяется? А только сказывали...

Меня зовутъ въ казармы. Волей—неволей приходится оборвать разговоръ.

Вхожу. Голыя, обмызганныя стѣны, грязь, однообразіе. Отъ всей обстановки вѣтъ тоской и уныніемъ.

Всѣ на ученіи. Только Тиходумъ и его товарищъ, Нетопырь, какъ нестроевые, сидятъ за сапожной работой.

Невесело отъ сапогъ, которые они тачаютъ по уродливой мѣркѣ, и которые солдатами обмѣниваются, съ до-

бавкой нѣсколькихъ своихъ рублей, на другое, человѣческіе, а начальствомъ снова скапуются на базарѣ. Невесело отъ нераспечатанныхъ газетъ, валяющихся въ пренебреженіи на полу, или идущихъ на обертку починенной обуви. Невесело отъ длинныхъ, тягучихъ разговоровъ съ жалобами на безконечные караулы и ученья.

— До свиданья!—говорю я. Мнѣ грустно. Я уже подымаюсь, чтобы уйти.

Но что это такое говорить Нетопырь? Тихой музикой звучать его слова; задушевныя, грустныя нотки трогаютъ сердце.

Мало-по-малу все кругомъ теряетъ мрачную окраску. Оказывается, газетъ солдаты потому не читають, что онѣ черносотенные: «разъ начальство выписываетъ, значитъ скверныя». И на ученіе жалуются потому, что изъ-за него остается мало времени, только по ночамъ, урывками, и удается читать наши книжки. Заговоривъ о книжкахъ, Нетопырь совсѣмъ воодушевился.

— А ужъ только лучше всего, коли про террористовъ написано... Тутъ такое въ голову войдетъ, какъ про Спиридонову читали, какъ ее умучивали...

Онъ очень некрасивъ и неказистъ, этотъ Нетопырь. Угловатое, скуластое лицо, большія, оттопыренныя уши, краснѣющія и приходящія въ движение, когда онъ волнуется. И языкъ у него неповоротливый, булькающій во рту. Но сколько поразительной задушевности раскрывается вдругъ въ его голосѣ!

— Непривѣтно у васъ, грязно!

— И не говорите! Пасха вотъ была. Извѣстно, и насы гулять отпустили. Пошелъ я въ городъ. Знакомыхъ нѣть,—мы вѣдь здѣсь только съ осени. Есть которые солдаты всюду себѣ удовольствіе промыслить, но только я по этой части не люблю. Пошелъ по городу. Тоска такая,—не приведи Господи!..

— А въ церковь что не пошли?

— Сходилъ! Да что жъ? Какъ подумалъ потомъ о казармахъ, не могу туда вернуться, да и только: пьянство тамъ у насъ, драка, брань, блеванье... Хожу по городу. Родные вспомнились: гдѣ-то, думаю, тоже праздникъ встрѣчаютъ. А народъ кругомъ веселый, нарядный, цѣлются. Колокола звонятъ. А ты, точно отверженный, въ одиночку. Одна женщина съ дѣтьми шла,—подойду, думаю: «пожалуйте, скажу, солдатика, мать вѣдь, поймите; дозвольте вмѣстѣ разговѣться». Да не осилилъ робость. Пошелъ дальше. Занавѣску въ одномъ домѣ забыли опустить, у самой земли окно. Всталъ у окна, гляжу: скатерть чистая, куличи, пасхи, вся семья за столомъ. Стыдно сказать,—

а стою, и плачу. Потомъ на море ушелъ, просидѣлъ тамъ до утра, чтобы никого не видѣть.

Къ намъ лѣниво подходитъ дневальный. Почесалъ поясницу, подсѣль и, смачно зѣвнувъ, заговорилъ что-то для меня непонятное:

— Иродъ, одно слово... звѣздануль... жару поддалъ... не то теперь времячко... ошибся часомъ.

Икнулъ, перекрестился и, пошелъ съ развалицей дальше.

— Чего это онъ?

— Да народъ, можно сказать, беспокойный сталъ!—поясняетъ Тиходумъ.—Словно сонный, котораго муха укусила: дергается, дергается, а проснуться не можетъ.

— И всегда вотъ ты, Семенъ, такой сумный!—тихо перебиваетъ его Нетопырь:—Нѣтъ, народъ нашъ даже очень проснувшись! Небось показали себя, какъ мышайто во щахъ нашли!

Въ это время на дворѣ слышится шумъ. Черезъ минуту съ пѣснями и криками въ помѣщеніе вваливается густая толпа вернувшихся съ ученья солдатъ. Я совсѣмъ потерялась въ этомъ гомонѣ и съ любопытствомъ и опаской оглядываюсь по сторонамъ.

Одни бѣгутъ умываться и, стоя съ полотенцемъ, тщательно растираютъ мокрые вихры. Другие, съ трудомъ дойдя до койки, валятся на нее, какъ подкошенные. Иные разуваются и, качая головой, осматриваютъ стертыя и мозолистыя ноги. Кое-кто оглядываетъ меня, но такъ, между прочимъ, и идетъ скорѣй своей дорогой. Ни одинъ не задѣлъ меня. Одно ужъ это—хорошій, много говорящій признакъ. Когда на Пасхѣ я пришла было въ казарму къ семеновцамъ, такъ не знала, какъ и выбраться отъ пьяныхъ развратниковъ.

— Федъ! Ротный зоветъ! Письмо, сказываютъ, прислано.

— Врешь, чортъ!

— Самъ ты чортъ трехногій! Тебѣ говорять, сигай скорѣе!

— Бриться, бриться! Къ цырульнику пожалуйте! За гривну первый сортъ огрѣйтъ! Робя! Слыши что ли, лѣши! Къ цырульнику, кто къ цырульнику?—кричитъ благимъ матомъ какой то неугомонный, вихрастый солдатикъ.

— Пошелъ къ чортовой матери на рога! Чего подъ самымъ ухомъ орешь? Звѣздану вотъ!—замахивается на него здоровенный рыжій дѣтина.

Но вихрастый извернулся и какъ разъ ладонью пришелся по толстой спинѣ рыжаго. Даже стекла задрожали отъ поднявшагося смѣха. Побагровѣвшій отъ конфузца дѣтина бросается за обидчикомъ. Поднимается такой содомъ,

что упаси Боже! Одному загораживають дорогу, другому подставляютъ ногу, подзадоривають насмѣшками и крѣпкими словцами.

— Къ цырульнику, къ цырульнику!—доносится голосъ уже изъ дальняго угла.

Съ трудомъ выбираюсь изъ этой каши. Тиходумъ провожаетъ меня и, какъ бы извиняясь, объясняетъ:

— Играются съ устанку, что подѣлаешь!

Раздается густой звукъ колокола.

— Смирно! Обѣдать!—кричитъ фельдфебель. И сей-часъ же, перебивая его, раздаются оглушительные крики и свистки:

— Обѣдать, мышѣды! Начальство обѣдать приглашааетъ!

— Мышей откормленныхъ заготовили!

— Солдатушки, браво ребятушки! Кто мышей не ъдалъ? Жиръ съ нихъ топится, въ животы ваши просится!

Ругаясь и сплевывая, съ криками и хохотомъ, проходить мимо меня солдаты широкимъ потокомъ въ столовую.

Съ цѣлымъ клубкомъ нераспутанныхъ мыслей и чувствъ вышла я на улицу. Кто же больше правъ, Ласточкинъ или Панъ? Что же обозначаетъ и предвѣщаетъ видѣнное и слышанное мною?

— Шумный у васъ народъ!—бросаю я часовому, который привѣтствуетъ меня, какъ знакомую.

— Тутъ станешь шумнымъ! Доведутъ, до чего хочешь доведутъ!—говорить онъ, прислушиваясь къ шуму изнутри и словно отвѣчая на заданный мною себѣ вопросъ.

До чего хочешь... До того ли, чего мы хотимъ, или до того, чего начальство захочетъ?

ГЛАВА VII.

„Ушкуникъ и подвижникъ“.

Полноводною рѣкой течетъ время. Товарищи съ головой ушли въ работу. Но я все еще у дѣлъ. Хочу обжиться, увѣриться въ себѣ и убѣдиться въ прочности своего положенія. Понемногу вхожу въ роль прислузы. Но все еще не безъ тревоги показываюсь на дворѣ, все еще замираетъ сердце при встрѣчахъ съ дворникомъ. Только жена рабочаго, чахоточная Михайлова, не страшна мнѣ; къ ней охотно забѣгаю покалывать. И когда на дворѣ собирается цѣлый клубъ, я жмусь къ ней, словно ищу у нея защиты отъ возможныхъ подозрѣній.

Пока «клубъ» судачать о господахъ, или перемывает косточки своимъ ближнимъ, я еще ничего. Но когда начинаютъ про политику,—я съ трудомъ сдерживаю улыбку и вся превращаюсь въ слухъ и вниманіе. Дворникъ—старичекъ шамкающимъ ртомъ ворчливо разсказываетъ, какъ его заставляютъ слѣдить, крамолу выискивать. Онъ старенький, совсѣмъ деревенскій,—не пристаетъ къ нему сыскная премудрость. Приказчики изъ Гостиннаго Двора ругаютъ военное положеніе, изъ-за котораго и въ торговлѣ застой да и покутить какъ слѣдуетъ нельзѧ. Всѣ стонутъ, всѣ жалуются, и рабочіе, и ихъ жены, и извозчики, и ремесленники, и прислуга. У всѣхъ свои горести. Но у всѣхъ одинъ вѣчный припѣвъ: вотъ собирается Дума,—и все пойдетъ по другому, по настоящему... Я вспоминаю Некрасовскую башку Ненилу, страстно ждущую, что «вотъ пріѣдетъ баринъ,—баринъ нась разсудитъ»—и всѣмъ сразу наладитъ хорошую жизнь. Жалкая обывательщина, слѣпая и безсильная! Какимъ особеннымъ кажется послѣ нея нашъ міръ, міръ матросскій! Онъ, уже сознающій себя той силой, на которую надо полагаться, на которой—и только на ней одной—надо строить всѣ свои планы!

Ходила сегодня по порученію Дмитрія къ либераламъ по присланнѣмъ изъ Питера адресамъ. Разбитая душевно вернулась домой. Кучи батиста, лентъ, кружевъ, домашнія портнихи, спѣшка передъ отѣзломъ на дачи,—жизнь, сплошь заполненная заботами объ устроеніи своего личнаго благополучія,—жизнь маленькая, плоская, скучная. На словахъ—сочувствіе революції, а на дѣлѣ—боязнь риска, боязнь оказать намъ какую-нибудь помошь, и въ то же время боязнь сознаться въ этой боязни. Отказываются намъ во всемъ, прикрываясь тысячами разныхъ предлоговъ, придуманныхъ кое-какъ, на спѣхъ, шитыхъ бѣлыми нитками.

А въ нѣкоторыхъ мѣстахъ еще хуже:

— Зачѣмъ вы толкаете на бунтъ? Освободительному движению мы готовы сочувствовать, но бунту—нѣть, никогда.

— Мы на бунтъ толкаемъ? Мы?

— Ну да, хотя, можетъ-быть, и помимо воли. Разрушая дисциплину, дезорганизуя армию, чего иного можете вы ожидать? Да и вообще... Разрушаете авторитеты, а нѣтъ не даете ничего. Благодаря вашей работѣ снова повторится пьяный, разрушительный бунтъ..

О, если бы они знали всю правду!..

Выходя отъ нихъ, вздыхаю съ облегченіемъ. И этотъ міръ былъ когда-то моимъ! Господи!

Жду Никиту въ Петровскомъ саду. Садъ старинный, гѣнійский, содержитъ чисто. По серединѣ, на широкой полянѣ, играютъ дѣти. На скамейкахъ няни и бонны съ забитыми прическами; это—аристократія среди прислуги. Мое затрапезное одѣяніе онѣ окидываютъ презрительными взглядами. Отхожу въ сторону, гдѣ меньше проходятъ.

Вотъ, наконецъ, и Никита.

— Ну что, обжились? Увѣровали, наконецъ, въ себя? ласково посмѣивается онъ въ бороду, снявъ картузъ и отирая потъ со лба.

Онъ только что съ митинга на Косѣ. Прошелъ «чинно, благородно», какъ выражаются матросы. Каждый ораторъ налагалъ свою программу безъ полемическихъ выпадовъ противъ другой стороны. «Такъ-то много понятнѣй!»—отзываются большинство слушателей. Оказывается, у солдатъ было условлено: за первое рѣзкое слово тащить оратора съ трибуны долой.

Никита разсказываетъ, какъ всѣмъ понравилась провозглашенія Дмитрія, какъ Ягуновъ, прочтя ее, скрылся изъ Кронштадта, оставивъ на своей постели огромный конвертъ съ адресомъ, написаннымъ четкимъ канцелярскимъ почеркомъ:

«Въ Главную Революціонную Квартиру
Комитетской Боевой Партии
кондуктора ...скаго экипажа
Петра Семенова Ягунова

Нижайшее прошеніе»

«Прошеніе» на веленевой бумагѣ. Оправдывается: «Враги, говорить, оклеветали меня. А я не токмо что, я даже завсегда готовъ служить революціи».

Никита отъ души радъ этой беззкровной развязкѣ. За кустами послышался шорохъ. Никита замолчаль, оглянулся. Мимо проходитъ солдатъ съ горничной.

— Э, вспугнули сердешныхъ!—говорить Никита, скользнувъ по нимъ благожелательнымъ взглядомъ. Военные вообще его слабость, каждый солдатъ для него родной братъ. А сегодня онъ особенно «вседовольный, всеблаженный».

— Благодать-то, благодать-то какая!—говорить онъ, щурясь отъ солнца. И его широкое, съ окладистой бородой лицо кажется само переполненнымъ «благодати»—широкой, тихой и радостной.

Просить остаться вмѣсто него поджидать Колмакова, а самъ торопливо уходитъ. Провожаю глазами его коренастую фигуру,—и свѣтло-благодарное чувство къ нему подымается въ груди. Трудно пришлось бы намъ безъ

него. Не знаемъ мы ни жизни военныхъ, ни обывательской. А онъ среди всѣхъ этихъ торговцевъ, дворниковъ, мѣщанъ, прислуки, не говоря уже о рабочихъ и военныхъ — какъ рыба въ водѣ. Легко и просто ориентируется въ этой чуждой и непонятной для нась средѣ, постоянно даетъ намъ дѣльные, практическіе совѣты, разрѣшающіе наши затрудненія.

Протяжно, съ завитками, мучительно жалостно и нестерпимо долго завываетъ на судахъ сирена. Я вспоминаю первое впечатлѣніе отъ нея. Какъ вонзилось въ сердце это завываніе, будя безпричинную жуть и страхъ! А теперь?

И вдругъ я ощущаю въ себѣ что-то новое; что именно, я еще не понимаю, но ясно сознаю, что я уже не прежняя, — и пытаюсь ухватить въ себѣ это новое.

Когда я ъхала сюда, я говорила себѣ — пустъ! Пусть будутъ трудности, лишенія, мученія! Я ждала, я почти просила ихъ у судьбы, потому что только черезъ нихъ я надѣялась приблизиться къ заповѣдной чашѣ, пріобрѣсть право на участіе въ великой мессѣ, совершающей избранными, алчущими и жаждущими правды и свѣта. Я — недостойная, слабая, неспособная. Только претерпѣвая эти мученія, только побѣждая эти трудности, я провѣряла свои силы и начинала хотя бы въ малой мѣрѣ вѣрить въ себя.

Пустъ! — твердила я себѣ, когда цѣловала меня прямо въ губы сифилитичка, сосѣдка въ пріюте, и когда я пила тамъ даровой чай изъ грязной оловянной кружки послѣ такой же, можетъ-быть, больной. Пустъ! — ободряла я себя, когда кричала на меня начальница пріюта, или когда барыни допрашивали про жениховъ и гнали за улыбку, какъ продажную развратницу. Пустъ! — утѣшала я себя, когда проходившій мимо подвыпившій матросъ чмокалъ меня при громкомъ хохотѣ товарищей. Пустъ, пустъ, пустъ.

А вотъ сейчасъ, здѣсь, сидя на скамейкѣ, я вдругъ почувствовала что это „пустъ“! — лишнее, потерявшее весь смыслъ, ненужное, какъ ненуженъ больше мостъ, уже со служившій свою службу. Да, я уже тамъ, по другую сторону моста. Я уже стою у самой чаши, мнѣ уже безразлично, будутъ или нѣтъ трудности и испытанія. Душа моя, замороженная и скоробившаяся, понемногу оттаяла, распрямилась, раскрылась для міра, какъ весною раскрывается домъ, всѣми окнами и дверьми вбирающей въ себя свѣжій воздухъ, и свѣтъ, и даль, и просторъ...

И чудится мнѣ, будто золотые, рдѣющіе лучи солнца, что прорѣзають нѣжно-зеленую, не очень еще густую листву, и играютъ на пескѣ золотыми кружечками, будто это не лучи, а безконечныя золотыя нити, которыя протягиваются отовсюду въ одну точку, и эта точка — моя душа. Все кругомъ — и трепещущій въ воздухѣ дѣтскій смѣхъ, и звонкое щебетаніе птицъ, и тихіе разговоры женщинъ, и

заводскіе гудки, и зеленоватый отблескъ раскидистыхъ деревьевъ, и прохлада тѣни, и лучезарность голубого неба, — все это свободными, богатыми волнами вливается въ мою душу и держитъ ее въ состояніи необычного трепета, радостнаго, восторженного, пьянящаго, — и въ то же время такого созерцательно-свѣтлого и проясненно-прекраснаго.

Сижу не шевелясь, словно зачарованная, не поднимая головы, боясь вспугнуть самое себя. Такъ остаюсь и тогда, когда подошелъ и сѣлъ рядомъ со мною Калмаковъ, а по другую сторону — занесенный въ садъ неизвѣстно откуда Сорокинъ.

Я слушаю ихъ разговоръ сначала почти въ забытьи, вѣя отдавшись своимъ новымъ ощущеніямъ. Откуда-то надали долетаютъ до меня ихъ голоса. Но мало-по-малу они приковываютъ къ себѣ мое вниманіе, эти матросы — революціонеры, эти два столь различныхъ типа.

Вотъ говоритъ Сорокинъ, попавшій сюда на службу изъ далекой Сибири, матросъ 2-й статьи 2-й дивизіи II-го экипажа. А моему странно настроенному сегодня воображенію рисуется новгородскій ушкуйникъ, забравшійся въ своей легкой ладѣ за тридевять земель искать счастья вдали отъ родины. Или вольный казакъ, ушедшій вмѣстѣ съ атаманомъ своимъ, Ермакомъ Тимофеевичемъ, въ далекую Сибирскую тайгу, покорившій сибирскія народности и смѣшавшійся съ ними — и кровью, и обычаями, и нравами.

Въ самомъ дѣлѣ, откуда въ немъ эта ртутная подвижность, эта страсть къ приключеніямъ? Какую-нибудь недѣлю живу я въ Кронштадтѣ, а уже нѣсколько разъ въ самыхъ различныхъ концахъ города попадалась мнѣ его долговязая фигура, его ухмыляющееся, съ маленькими глазками, скуластое лицо. Какъ его далекій предокъ, новгородскій ушкуйникъ, онъ не довольствуется тѣмъ, что близко, подъ рукой, онъ идетъ къ другимъ, еще незатронутымъ нашей работой слоямъ солдатской и матросской массы. И чѣмъ труdnѣе и опаснѣе доступъ туда постороннимъ, чѣмъ больше отвѣтственность, тѣмъ неудержимѣе тянетъ его туда. И чѣмъ строже и грознѣе къ нему начальство, тѣмъ онъ чувствуетъ себя съ нимъ свободнѣе, непринужденнѣе и, главное, веселѣ. «Хайло свое замкни!» — «Замокъ, ваше благородіе, забылъ припасти!».

А рядомъ съ нимъ Калмаковъ съ его негромкой и сдержанной рѣчью, съ его задумчивымъ, упорнымъ взглядомъ, которымъ онъ какъ будто хочетъ прозрѣть будущее. Какъ тяжелой болѣзнью, всецѣло захваченъ онъ страстью «на пользу общую». Военная организація, это — его скроинце, надъ которымъ онъ, какъ скряга надъ золотомъ, не смыкаетъ глазъ. Послѣ осенняго урагана, съ корнемъ вырвавшаго еще слабые тогда ростки организаціи, Калмаковъ

быль прямо страшень, какъ страшень бываетъ скопидомъ-хозяинъ на пожарищѣ, потерявшій вдругъ все добро, всѣ плоды своихъ многолѣтнихъ трудовъ. Безумно металась и бунтовала душа, не хотѣла, не могла примириться съ совершившимся. Сурово сжались губы глубоко ушли глаза, похудѣло, осунулось лицо. Да и теперь еще товарищи относятся къ нему съ нѣкоторымъ страхомъ, какъ къ человѣку «не отъ мѣра сего», хотя и уважаютъ его еще больше прежняго. Дѣйствительно, что-то подвижническое, несгибаемое, «обреченнное» сказывается по всей фигурѣ, зеленоватые глаза его порою загораются какимъ-то магическимъ блескомъ.

— Нашего брата-матроса тоже понимать надо, — говорить онъ не спѣша, словно задумавшись, — о чёмъ? — о предметѣ ли разговора или о чёмъ-то своемъ, неотступномъ? — «Да, понимать его нужно! главное, — душа въ немъ опустѣла. Убили въ немъ старую правду, — вѣра въ Бога, въ царя обманомъ оказалась. А новой-то и нѣту. А безъ правды въ душѣ какъ проживешь? Отчаяннымъ стала матросъ. Отъ этой самой отчаянности и бунтъ вспыхнулъ».

Сорокинъ въ это время наклоняется, свѣшивается со скамейки всѣмъ своимъ длиннымъ нескладнымъ туловищемъ, рветъ молоденькия травинки, нѣжно разглаживаетъ ихъ у себя на колѣняхъ, рассматриваетъ на свѣтѣ, лижетъ языкомъ.

— Оказія! Право, оказія! Вѣдь вотъ ровно ничего изъ себя не оказывается, а глядѣть — не наглядѣться! любо!

Понюхалъ: — «Духъ-то! Земля — одно слово!»

Вотъ вѣдь: одинъ про Бога, про правду, а другой... Да это подлинный язычникъ! Богъ, правда — это не его сфера. Земля — вотъ его Богъ, его правда.

— Въ тюрьмѣ когда сидѣлъ, — продолжаетъ про свое Калмаковъ, — много я тамъ этого народа насмотрѣлся. Одно слово — опустѣлая души: къ чему человѣкъ тянется, — и самъ не знаетъ. А тянется. Какъ раскроешь ему глаза, сразу словно другимъ человѣкомъ станетъ. Да только не вѣрно, что сразу: можетъ, сколько времени душа его голодала, испить просила, и только напилась сразу.

— Разскажите про тюрьму, — прошу я.

Калмаковъ задумавшись, молчитъ. За него начинаетъ Сорокинъ.

— Что про тюрьму? Кончился бунтъ, всѣхъ настъ — маршъ подъ арестъ. Какъ скотину, скопомъ. Да на форты, да въ городъ, да опять на форты. А офицеры... который вчера трусу праздновалъ, пятками сверкалъ, сегодня пуще всѣхъ куражится... Эхъ, да что обѣ этомъ! Заклятыхъ враговъ изъ настъ на вѣки вѣковъ аминь сдѣлали. Но ужъ дождемся же мы своего! Получать отъ настъ сдачи пол-

ностью! — Недобрый блескомъ горятъ его узенькие глазки, внука жутко передъ этой непрѣтворной ненавистью, передъ этой глубоко засѣвшей жаждой мести.

— А тутъ хватъ — своихъ не досчитываемся, — продолжаетъ онъ: — то изъ одного, то изъ другого экипажа, какъ сквозь землю провалились. На свиданки народъ ходилъ — сказывали: видѣли, какъ нашихъ въ море кидали, руки связаны...

— Но вѣдь это же не правда!

— Тогда всему вѣрили, потому какъ совсѣмъ въ тѣ поры изверги изсобачились. Мытарили они настъ и такъ и такъ, по всѣмъ статьямъ. И мы... тоже все злѣе дѣлались. На волѣ, слышимъ, амнистія, изъ тюремъ освобождаются, въ намъ разстрѣль за бунтъ предстоитъ. Къ пьяницамъ да ворамъ, къ тѣмъ еще ничего, милостивѣ были, ну, а трезвымъ — всѣмъ грозили, потому какъ крамольниками ихъ считали.

Сорокинъ затягивается папироской. — Говори, пока выкурю, — бросаетъ онъ Калмакову.

— Стало-быть, прослышили мы тутъ, — начинаетъ тотъ, въ Петербургѣ Совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ забастовку объявилъ, требуетъ, чтобы намъ казни отмѣнили. Крѣпко ударило это нашихъ. «Всероссійская забастовка! Всѣ за настъ встутились! Ну, ладно, долгъ платежемъ будетъ краинъ, сумѣемъ и мы въ свое время за народъ постоять!» вотъ что говорили.

Лицо Калмакова измѣнилось, просвѣтлѣло, голосъ сталъ мягкимъ, почти нѣжнымъ. Сорокину хочется вмѣшаться, но онъ сдерживается, только мѣшаетъ и, улыбаясь, крутилъ головою.

— Повѣрите ли, — повертывается ко мнѣ Калмаковъ: — плакали у настъ, когда про это постановленіе узнали. Плачали многіе, которые совсѣмъ даже темные были. «Какъ же, кричать какой-нибудь пьяничужка, — какъ же я могу теперь себя по-скотски вести, когда рабочій человѣкъ идетъ его малая изъ-за меня голодаютъ, чтобы мнѣ, подлецу, пьяницѣ, разстрѣла изѣѣжать? Каюсь! — кричать, — вспомнилъ и я теперь свое старанье приложить къ дѣлу!» Да, проняло тогда, многихъ проняло.

Сорокинъ не вытерпѣлъ:

— Былъ у настъ въ тюрьмѣ матросъ, изъ нашей роты, ростомъ такой, Власовымъ звать. Ухватилъ онъ разъ обѣими руками за раму, дергаешь ее, инда трескъ по камерѣ: «Силовъ, кричать, больше моихъ нѣтути! Человѣкъ въ обидѣ! Рухайте, рѣшетки желѣзныя! Рухайтесь, дьявольскія измысленія! Сгиньте на вѣки вѣковъ, палачи-изверги!» Затрешала рама. Приѣгли надзиратели, въ гардерѣ уволокли! Вотъ тебѣ и дьявольскія измысленія!

Здорово парня исполосовали въ карцеръ!—неожиданно весело заканчиваетъ онъ.

Они про тюрьму говорятъ, а мнѣ думается: не такой ли тюрьмой—мачехой была вся русская исторія для лучшихъ людей Россіи на протяженіи многихъ вѣковъ, однихъ превращая въ «вольныхъ казаковъ», другихъ гоня въ пустыни—спасаться, самоистязаться, самосожигаться? Но вотъ наконецъ здѣсь, въ лицѣ этихъ двухъ матросовъ, вольница и подвижничество, эти два коренныхъ противоположныхъ начала русской жизни, подаются другъ другу руки. И съ безудержностью,—чертой, роднящей ихъ между собою,—оба устремляются на служеніе «сущей правдѣ», и вся долгая исторія дерзаній, порывовъ, исканій, томлений сказывается въ ихъ ненасытной жаждѣ этого служенія.

Есть между ними огромная разница. Одинъ отдается дѣлу съ тѣмъ увлеченіемъ, съ какимъ соловей отдается пѣнью, а ребенокъ—игрѣ. Работать въ революціи для него—значить плыть по широко-широко разлившейся родной Ленѣ, бурной, порожистой, опасной, но именно этимъ и чарующей, этимъ и дорогой. Въ революцію его толкаетъ жажда удали съ одной стороны, жажды мести—съ другой, ненасытная жажда увидать мужика, споконъ вѣковъ униженного,—возвеличеннымъ, свободнымъ, а главное—веселымъ, а ненавистныхъ враговъ своихъ, всю эту, по его терминологіи, «сволочную пакость» въ чиновничьей и офицерской шкурѣ—увидать униженной, раздавленной, а главное жестоко, безпощадно осмѣянной, выставленной на поруганіе.

По иному пути, иными дорогами идетъ въ своей жизни Калмаковъ. Для него революція—не праздникъ, а мука творца, покупающаго цѣнной собственной крови каждый штрихъ своего произведенія.

Есть и другая разница. Сорокинъ идетъ мстить на-
чальству за издѣвательства надъ матросами, все прощаетъ
своимъ, и ничего не прощаетъ, не забываетъ врагамъ. А
Калмаковъ? О, его сердце не такъ трогаютъ преступленія
начальства. Онъ сгораетъ со стыда за матроса, опозорив-
шаго себя и бунтомъ и участіемъ въ усмирениі, онъ меч-
тааетъ смыть этотъ позоръ со всего флота.

Пусть все это такъ. Но и тотъ и другой, хотя каждый по своему, дѣлаютъ одно дѣло,—дѣло возрожденія народа, выпрямленія народной души. Въ одномъ говорить оскорбленная честь, въ другомъ—уязвленная совѣсть.

До поздняго вечера таскала я въ этотъ день наши, эсэровскія, книги и газеты на соціалъ-демократическую квартиру, гдѣ уже полъ-комнаты было завалено ихъ газетой «Казарма» и нашими книгами. Все это надо было разсортировать, разложить по кучкамъ,—на каждое уходящее судно по библіотечкѣ,—перевязать и перенести на себѣ, незамѣтно для посторонняго глаза, въ другое мѣсто, куда свободно могли приходить матросы. Безъ конца искальсила я городъ, таская все новыя и новыя груды книгъ. Но не чувствовала ни жары, ни усталости, ни голода. На душѣ праздникъ. Отчего это? Отъ объединенія ли съ соціалдемократами, отъ мысли ли, что будетъ духовная пища матросамъ въ морѣ, или отъ воспоминанія о разговорахъ въ саду? Не знаю... Отъ всего вмѣстѣ...

ГЛАВА X.

Потеряла мѣсто.

Открылась Дума, «Первый Русскій Парламентъ».

Сижу на скамейкѣ въ Собачьемъ саду, прозванномъ такъ потому, что на его воротахъ нѣть ненавистной надписи: «Собакъ не водить, нижнимъ чинамъ входъ воспрещается». Рядомъ со мною изможденная, безъ кровинки въ лицѣ, женщина, съ обычнымъ вязаньемъ въ рукахъ.

— Ужъ больно ты худа, какъ я погляжу!—говорить она мнѣ:—молодая, а такая тощая!

Я рассказываю ей что-то про безрадостную жизнь, про тяжелую женскую долю.

— Охъ, сердешная ты моя, извѣстно, дѣло наше женское, завсегда такъ. Вотъ и я тоже маюсь: мужа при машинѣ убило, одна осталась съ малыми сиротами. Какъ тутъ проживешь? Сказывали, должно способіе итти. А кто охлопочетъ? Кто заступится? Вотъ Дума, говорятъ...

— Что, Дума?—живо повортываюсь я къ ней.

— Да, не знаешь что ли? Думу сегодня со всей земли собрали. Какъ же. Ванюшка у насъ со двора Ѣздила въ Питеръ, разсказываетъ. Что тамъ и дѣется! Тѣхали это сенаторы въ раззолоченныхъ мундирахъ, разсѣлись въ каретахъ со всею важностью. А народу собралось тьма—тымущая: «Довольно,—кричать, имъ,—господа енералы да сенаторы, дармоѣдничать вамъ да на коняхъ разъѣзжать! Шабашъ теперь вашему барству! Ходи вровень со всѣми!» Вытрясли ихъ изъ каретъ золоченыхъ, и пошли енералы и сенаторы тихохонько, вровень со всѣми. Небось, скрутятъ ихъ тамъ, въ Думѣ-то! Авось, тогда и намъ полегчаетъ!

«Авось полегчаетъ», «авось кто-то скрутитъ», кто-то что то за нась сдѣлаетъ!

Вечеромъ бѣгу къ одному знакомому либералу. Съ головой погружаюсь въ газеты.

«Великій день наступилъ, и всѣ ждутъ что-то скажетъ онъ»...—читаю я въ одной передовицѣ. «Народные избранники пришли, чтобы широко распахнуть двери для побѣднаго шествія народа къ свободѣ и счастью. Они взяли на себя тяжелую ношу народныхъ страданій, чтобы сбросить ее навсегда съ народныхъ плечъ»....

Я уже читала на дняхъ нѣчто подобное своей хозяйкѣ. Она слушала, умиленная, до слезъ растроганная. Подъ конецъ не выдержала, разрыдалась.

Я гляжу на газетныя строчки, а передъ глазами встаютъ: плачущая хозяйка, женщина въ саду, посѣтители клуба на дворѣ... Вспоминается 9-ое января, толпы съ хоругвями, съ иконами, со священникомъ впереди, идущія къ царю.. Тогда вѣрили въ Гапона, вѣрили, что онъ дойдетъ до царя, откроетъ ему на все глаза, и все устроится. Теперь вѣрютъ, что это сдѣлаетъ Дума. Съ горечью пожимаешь плечами —и въ тоже время преклоняешься передъ полнотой и силой этой народной вѣры, передъ святостью ея...

А вотъ и царскій манифестъ къ «своимъ возлюбленнымъ подданнымъ»:

«Да знаменуется день сей отнынѣ днемъ обновленія нравственного облика земли русской»...

А вотъ рѣчь царя при приемѣ членовъ Думы:

— «Я привѣтствую въ лицѣ вашемъ тѣхъ лучшихъ людей, которыхъ я повелѣлъ возлюбленнымъ моимъ подданнымъ выбрать отъ себя»...

Коробить это лицемѣріе. Ужъ лучше приватное заявленіе министра Горемыкина, откровенное и грубое, что третья состава Думы онъ считаетъ весьма годными для вицѣлицы.

А легковѣры во главѣ съ Петромъ Струве радостно трепыхаютъ крыльышками и, захлебываясь отъ восторженного умиленія, счастливо чирикаютъ: «Зима прошла! Растаялъ ледъ!»...

Лихорадочно пробѣгаю вороха газетъ. Сколько ироническихъ иллюстрацій къ этимъ посуламъ «нравственного обновленія земли русской»!

24-го апрѣля въ Ревель разстрѣлянъ Ганстбелехъ, въ Варшавѣ повѣщенъ Мелтранъ; 26-го въ Одессѣ приговоренъ къ смертной казни крестьянинъ Рымша за ограбленіе 8-ми рублей въ винной лавкѣ... Меллеръ-Закомельскому пожалованъ орденъ Бѣлаго Орла за его чудовищные усми-

рительные подвиги въ Сибири... Изъ Гомеля вѣсти о подготовкѣ новаго погрома... Въ Симбирскѣ въ день созыва «Парламента» звѣрское избѣніе мирныхъ жителей, манифестирующихъ въ честь этого парламента.. Въ Питерѣ по дворамъ усиленные наряды казаковъ, драгунъ и пѣхоты...

Гдѣ искать проблеска свѣта среди этой тьмы? Во что вѣрить? Одно остается: вѣра въ народъ, вѣра въ вѣру народа. Для него Дума стала уже святыней. Дасть ли онъ разбить ее безнаказанно?

«Мы на все готовы! Пусть только тронутъ нашихъ избранниковъ! Мы имъ покажемъ! Мы кровью завоюемъ свои права!»—такія слова раздавались на проводахъ крестьянскихъ депутатовъ въ Самарской губерніи.

«Ступайте за землей—и безъ земли не возвращайтесь! Лучше умрите! Или съ землей—или въ землю!»—напутствовали своихъ избранниковъ казанцы.

«Иди въ Думу,—и умри тамъ со славой, иначе здѣсь умрешь со стыдомъ!»—говорили пензяки.

Когда раньше русскій народъ говорилъ такимъ языкомъ? А газеты!

. . . «Творится нѣчто невообразимое, нѣчто такое отъ чего люди приходятъ въ отчаяніе и рѣшаются на все»..—читаю я въ умѣренномъ «Правѣ».

. . . «Что-то огромное, тяжелое и грозное нависло надъ нами,—пишетъ тамъ же Короленко»:—отъ такта министерства будетъ зависѣть, удастся ли отвратить эту грозу или она разразится надъ нами неслыханной катастрофой...

И еще, и еще, много такихъ же предсказаний о томъ, что при такихъ условіяхъ роспускъ Думы будетъ «роковымъ по послѣдствіямъ»...

Итакъ, народъ плачетъ, вздыхнетъ, иногда угрожаетъ, но больше всего вѣрить и ждать. А правительство? О, оно не ждетъ; зрѣютъ проекты роспуска только что собравшейся Думы, готовятся пулеметы, блиндированные автомобили, карательные поѣзда, вырабатываются планы войны съ народомъ.

Неспокойно и у насъ въ Кронштадтѣ. Идутъ усиленные разговоры о 1-омъ мая, о предстоящихъ демоностраціяхъ, забастовкахъ, арестахъ. Кронштадтъ теперь положительно кишитъ шпіонами. Изъ полицейскихъ круговъ узнаемъ, что для слѣжки за «подозрительными» набраны мальчишки лѣтъ 16-ти—17-ти, изъ среди жуликовъ, воровъ и проходимцевъ, что шпіоны шныряютъ подъ видомъ татаръ-старьевщиковъ, а шпіонки — подъ видомъ проститутокъ.

Хожу подтянутая и особенно зоркая, крещусь передъ каждой часовой, чтобы быть лишній поводъ оглянуться. Всюду видны подозрительныя, непріятныя лица.

Проходитъ нѣсколько дней. Долго не рѣшаюсь сама себѣ повѣрить, но это такъ: за мною слѣжка. Какъ? Почему? Ломаю себѣ голову, но ничего, рѣшительно ничего не могу понять. Прежнее отношеніе встрѣчаю къ себѣ на дворѣ: равнодушное со стороны всѣхъ, добродушное со стороны старика-дворника, тепло-участливое со стороны Михайловны. Значитъ, не съ нашего двора началось, со стороны нанесло тучу. Но откуда?

Шпики караулятъ нашъ домъ. Хозянинъ рветь и мечтъ въ какомъ-то животномъ испугъ. Хозяйка, посѣрѣвшая и осунувшаяся, еле дышитъ, боится слово вставить. Въ домѣ, какъ на зло, недавно привезенная литература. То и дѣло вытряхиваю скатерти и одѣяла за окномъ, или бѣгу въ лавочку, чтобы еще разъ провѣрить. А тамъ шпики пристаютъ съ разговорами:

— Въ которомъ этажѣ служишь, красавица?

Будто бы принявъ ихъ за «ухажеровъ» сержусь и посылаю ихъ ко всѣмъ чертамъ.

Шпики уже заходятъ во дворъ, взираются на лѣстницу, ихъ рожи торчатъ изъ сѣней въ кухонное окно.

Принявъ всѣ возможныя и невозможныя мѣры предосторожности, выношу подъ шалью литературу. Чтобы лучше замести слѣды, захожу въ церковь, выстаиваю до конца длинную обѣдню. Въ отчаянной тоскѣ и изнеможеніи припадаю горящимъ лбомъ къ холодному полу и замираю. Холодокъ отъ пола камня проходитъ подъ кожу, забирается все дальше и глубже. Оживаютъ въ памяти всѣ зловѣщія предсказанія, всѣ дурные предчувствія.

Смѣшавшись съ толпою, уношу книжки къ одной барышнѣ, Марѣ, знакомой Дмитрія. Къ Никитѣ итти не рисую: слѣжка можетъ быть и тамъ.

Не заставъ Мары дома, оставляю у нея литературу съ запиской, прося, чтобы Никита и Дмитрій ко мнѣ не заглядывали.

Дома новое испытаніе: хозяйка просить наколоть дровъ для бани. «Самъ сердитый, скоро вернется надо поскорѣе». Никогда въ жизни не колола я дровъ, но приходится. Что подумаютъ на дворѣ, если возьмется сама хозяйка? Забравшись въ уголъ двора, безсильно стукаю топоромъ, боясь оглянуться, не видить ли кто. То останавливаюсь въ недоумѣніи, когда топоръ уткнется въ колоду и не желаетъ выходить оттуда ни взадъ ни впередъ; то въ испугѣ отскакиваю, когда капризное полѣно, вмѣсто того, чтобы

расколоться отъ удара, летитъ совсѣмъ по неуказанному адресу и пребольно ударяетъ меня по ногѣ. Одно къ одному ужъ! Одинъ отвѣтъ!.. Не такъ ли все и въ нашей жизнѣ? Направляемъ ударъ въ одну сторону, а онъ, невѣдомо, почему,—валится на нашу же голову.

Оборачиваюсь на голосъ, вся красная отъ натуги и смущенія, смотрю,—Михайловна. Начинаю причитать:

— Не вѣѣли дохтора тяжелое дѣлать, барыня брала на легкую работу, а теперь: то ей дровъ наколи, то коврище вытряси...

Михайловна, не говоря лишнія слова, берется за топоръ. Летятъ во всѣ стороны расколотыя полѣнья, весело поблескивая свѣжей древесиной.

Дома рассказываю про казусъ, хозяйка дуется: на весь дворъ ее осрамила, никто къ ней служить не пойдетъ.

Нагрузившись еще разъ, будто въ баню иду, уношу остальную литературу. Снова долго, безконечно долго жду Мару. И снова не дождавшись, какъ въ воду опущенная, возвращаюсь домой. А тамъ...

Хозянинъ, какъ укушенный, бѣгаетъ по комнатѣ, швыряетъ тарелки, придравшись, что не чисто вытерты, извергаетъ какіе-то непонятныя слова и намеки. И вдругъ прорывается...

— Куда это вы ходили сейчасъ? Кто васъ знаетъ? Можетъ, въ охранку?..

И пошелъ, и пошелъ...

Онѣмѣвъ отъ изумленія и негодованія, вся дрожа, какъ въ лихорадкѣ, стою, ухватившись за притолку, стараясь понять, въ чемъ дѣло. Хозяйка шепчетъ, наклоняясь:

— Совѣтъ рехнулся! Наказаніе Господне! Это онъ со страху: обыска опасается. Вы унесли книжки-то, а онъ у себя нашелъ двѣ завалящихъ. Вотъ и взбрѣди дуралею въ башку, что вы ихъ ему подбросили, а сами доносить пошли. Вы долго не ворочались, а что тутъ было-то!..

Глаза у нея заплаканные...

Стучусь къ хозяину, заявляю ему о своемъ уходѣ. Голосъ словно не мой, губы дрожатъ, ноги подкашиваются. Смотрю на толстую, страшно напружившуюся шею, на заплывшіе, съ красными жилками глаза, на трясущееся брюшко. Кто довелъ его до такого состоянія? Кто разъярилъ этого быка? И какъ теперь оставить съ нимъ Варвару Степановну?

Собственная опасность начинаетъ отходить на задній планъ, а собственная вина все вырастаетъ и вырастаетъ. Развѣ въ самомъ дѣлѣ не безуміемъ было съ нашей стороны соглашаться на его предложеніе. Онъ сдѣлалъ его, какъ искромѣленный ребенокъ, а мы...»

— Коли хотите, живите! — говорить онъ, на моментъ смягчившись: — мѣста въ квартирѣ не жалко... А впрочемъ, лучше всѣмъ бы вамъ убираться изъ Кронштадта по-добру, по-здорову. Довольно! Нажились, надѣлали дѣловъ! Наработали революцію! Людей только провалили! А то, будете въ другомъ мѣстѣ жить, все равно дознаются, что моя прислуга, пытать меня будутъ!.. Охъ, пропадать видно моей головѣ! — выкрикиваетъ онъ, снова входя въ ражъ.

Ну, и въ кашу же я влѣзла!

Подъ прикрытиемъ темной и дождливой, на мое счастье ночи, черезъ заборы и сосѣдніе дворы, выбираюсь наконецъ изъ этого ада. Почти бѣгу по улицамъ, снова туда, къ ветхому домику. Неужели опять неудача? О, радость! Со свѣчей въ дверяхъ появляется молоденькая дѣвушка.

— Вы—Мара? Я — знакомая Дмитрія, два раза сегодня была у васъ... — бормочу я, еле переводя духъ.

Мара поднимаетъ на меня грустные усталые глаза, и, не говоря ни слова, ведетъ черезъ скрипучія стѣнцы, загораживая рукою мечущееся пламя свѣчи, въ свою убогую комнатку съ низенькимъ потолкомъ.

— Наши цѣлы? Давно вы ихъ видѣли? Можете привести сюда котораго-нибудь?

Быстро накинувъ шаль, Мара тихо выскользываетъ изъ комнаты. Кто она, эта тихая дѣвушка съ негромкимъ голосомъ, гладко причесанной головкой и длинной косой? Какъ отрадно отдаются въ моемъ измученномъ сердцѣ ея слова, что всѣ наши цѣлы! Какъ тепло отъ ея участливаго, мягкаго взгляда, отъ всей убогой, но опрятной обстановки дѣвичьей комнаты! И дождь за окномъ не кажется уже такимъ отчаянно тоскливымъ, и таетъ въ душѣ мало-по-малу чувство вины и безнадежной оброшенности.

— Что, товарищи, видно и впрямь ничего другого не остается, какъ уѣзжать намъ изъ Кронштадта? — спрашиваю я приведенныхъ Марою Дмитрія и Никиту, разсказавъ имъ о своихъ мытарствахъ. — Ни отъ кого другого, кроме васъ, слѣжка не могла пристать ко мнѣ. Ясно, что всѣ мы провалены и должны убираться отсюда.

— Убираться? — удивляется Дмитрій.

— Ну да, конечно, убираться! Что жъ тутъ удивительнаго?

— Уѣзжать изъ Кронштадта? Бросать все? — переспрашиваетъ онъ, морщась, какъ отъ физической боли.

Ему не хочется, ему тяжело разставаться съ Кронштадтомъ, и по своей всегдашней манерѣ онъ отшучивается: «Зачѣмъ? Авось! Богъ милуетъ».

«Авось!... А что, если онъ тоже ужъ на примѣтъ? Что, если изъ-за него будутъ арестованы солдаты, и превалится вся организація?

Съ раздраженiemъ, почти со злобой я накидываюсь на Дмитрія, упрекая его въ преступномъ легкомысліи, въ небрежности, въ беззаботности; приплетаю сюда даже прошлогодній бунтъ и разгромъ. Все, что накопилось у меня на душѣ за эти дни шпіонской осады, все, что натянуло и истерзalo нервы, — все это выливается сейчасъ на него ни въ чёмъ неповинную голову. Дмитрій не успѣваетъ отшучиваться. Никита смотрить на меня съ болью. Въ глазахъ Мары укоръ и обида.

Наконецъ мнѣ становится стыдно своего раздраженія; впрочемъ, оно уже и разрядилось. Начинаемъ обсуждать дѣло хладнокровнѣе. Какъ всегда, вѣско говорить Никита, вѣско и успокоительно: онъ завтра идетъ въ полицію и наведеть тамъ справки; ему, какъ дворнику, открыты двери, для другихъ запретныя.

А пока я отдаюсь въ полную власть Мары. Ночь провожу на ея скрипучей, узенькой и жесткой постели, — сама она уходить къ товаркѣ; а день — въ темномъ коридорѣ, въ квартирѣ какой-то толстой барыни, передъ которой Мара выдаетъ меня за знакомую крестьянку, — въ компаніи злющей, да къ тому же страшно блошистой собаченки. Только поздно вечеромъ Мара освобождаетъ меня изъ плѣна. Она сіяетъ:

— Вѣдь васъ шпикъ-то подкупить хотѣлъ, чтобы вы помогли ему слѣдить за студентомъ, что жиль напротивъ! Его сегодня арестовали. Все, все теперь выяснилось. Вы тутъ совсѣмъ, совсѣмъ ни при чемъ.

Завтра по порученію товарищей Ѣду въ Питеръ.

ГЛАВА XI.

«Обреченнaya».

Ѣду въ Питеръ съ первымъ пароходомъ. Никогда, кажется, не забыть мнѣ этихъ утреннихъ поѣздокъ. Столько глубокой поэзіи и молодой окрыляющей бодрости вносятъ онъ. Все окружающее — и широкое раздолье моря, и лазурное, неоглядное небо, и прозрачная тишина утренняго воздуха, и вся музыка, весь блескъ величаваго пробужденія природы, — все, преломляясь въ душѣ, сливаются въ большое восторженное чувство счастья, въ дивное ощу-

щеніе сліянія съ природой, брызжущей мощью, красотой и радостью. Все кажется необычнымъ, изумительнымъ, молодымъ, будто впервые пришелъ на землю день, впервые солнце щедрыми пригоршнями разбрасываетъ свои пламенные лучи.

На Лисьемъ Носу пересадка на поѣздъ. На моментъ успѣваю заглянуть въ лѣсъ, темный, таинственный, замершій въ величавой тишинѣ. Ночь еще не ушла изъ него. Но уже смѣются переливчато брилліанты—росинки на молоденькихъ кустахъ брусники на опушкѣ, и манить весело вѣюющаяся тропинка.

Прѣѣзжаю съ букетомъ лѣсныхъ цвѣтовъ и зелени. Отдаю его молоденькой курсисткѣ Настѣ, къ которой захожу переодѣться. Настя погружаетъ свое свѣжее лицико въ зеленые кустики, словно хочетъ вбрать въ себя весь ароматъ лѣса. На кудряхъ у ней прыгаютъ, играя, непосѣды—росинки.

— Много дѣла?

— Много, Настя. Не знаю даже, какъ управлюсь.

— Давайте, помогу.

— Помогите,—смѣюсь я: — найдите женщину для Кронштадта.

— Женщину? А я? можно?

— Вы, Настя? О, нѣтъ, нельзя. Нельзя. Ну, до свиданья, до вечера.

Поскорѣе ухожу. Сегодня Первое Мая. Это чувствуется всюду. За день бѣготни я успѣваю повидать немало типичныхъ для Питера первомайскихъ сценъ, наслушаться первомайскихъ разсказовъ. Пустыя зданія фабрикъ, охраняемыя угрюмо насупившимися полицейскими. Рабочая молодежь, подтрунивающая надъ разъѣздами казаковъ, жандармовъ и конныхъ городовыхъ. Толпы демонстрантовъ, разгоняемыя въ одномъ мѣстѣ и тотчасъ собирающіяся въ другомъ. Красныя знамена на лодкахъ по рѣкѣ. Крики: «Амністія! Учредительное Собраниe!» Гдѣ-то пущены въ ходъ нагайки и холодное оружіе. Есть раненые и потоптанные лошади. Убить рабочими начальникъ адмиралтейского завода. Но все это не мѣшаетъ радостному оживленію и возбужденному ожиданію чего-то большого впереди... А вечеромъ все улеглось. Городъ затихъ. Только мѣрно цокаютъ подковы полицейскихъ разъѣздовъ.

Такъ это напоминаетъ 1905 годъ, годъ «бури и на-
тиска». Осеню этого года я впервые познакомилась съ Настей,—навѣки незабываемой Настей.

Помню морозный вечеръ, рѣзкій, пронизывающій вѣтеръ съ моря, нѣмѣющія отъ холода руки и ноги, и усталость, страшную усталость. Помню маленькую комнатку съ привѣтливо пыхтящимъ самоваромъ, и вокругъ него

молодыя лица. Это собирались наши военные работники. Красныя отъ мороза щеки, сосульки на усахъ, бородахъ и рѣсницахъ, блестящіе глаза, мокрая отъ талаго снѣга одежда. А около камина—молоденькая высокая дѣвушка, почти дѣвочка, съ вздрагивающими худыми плечиками.

— Господи! Да сколько же вамъ лѣтъ!—невольно вырывается у меня при взглядѣ на нее.

Она хочетъ казаться серьезной, но помимо воли ея губы раздвигаются въ улыбку, и окающимъ ярославскимъ говоромъ она отвѣчаетъ:

— Девятнадцать!

— Да вѣдь это же еще сущій ребенокъ! Да развѣ можно брать такую въ дѣло!—говорю я, отойдя, нашему «организатору».

— Ого!—многозначительно кидаетъ онъ:—вы посмотрите-ка ее на дѣлѣ!

Я не могу оторваться отъ Нasti: по-дѣтски розовѣющиа щеки съ пушкомъ, мягко довѣрчивое, открытое лицо съ трогательно невиннымъ отливомъ какой-то вдумчивой грусти, такое глубоко правдивое, чистое, просвѣтленное. И эти капельки, словно слезы, на оттаявшихъ рѣсницахъ такъ идутъ къ ея свѣтло-печальному выраженію.

Не успѣла я перемолвить нѣсколькихъ словъ съ друзьями, гляжу—Настя уже опять въ дверяхъ, одѣтая...

— Куда это вы?

— Нужно! Нужно!—сверкнула широкая поспѣшная улыбка, и захлопнулась дверь.

Оказывается—ее посылаютъ съ прокламаціями на окраину города, за Нарвскую заставу. Ее, самую молодую и неокрѣпшую, въ рваныхъ калошахъ, не давши ни согрѣться, ни напиться чаю, ее, уже цѣлый день пробѣгавшую, не успѣвшую даже пообѣдать толкомъ. Но—«такъ надо!» Остальные должны сегодня дѣлать доклады о своихъ районахъ, она одна свободна. Да, такъ надо. Но... чудится ея полудѣтская фигурка тамъ, среди сугробовъ предмѣстья, подъ жестокими ударами вѣтра,—и беспокойно бѣется мысль, и неразрѣшеннымъ встаетъ мучительный вопросъ: человѣкъ или дѣло? что важнѣе? Нельзя, а надо! Гдѣ же выходъ?...

Съ тѣхъ поръ прошло полгода. Сегодня опять встаетъ передо мною тотъ же проклятый вопросъ, и опять въ связи съ Настей. Сейчасъ и увижу ее. Что же скажу я ей?

У Нasti застаю цѣлое общество: веселую хохотушку Галию, знакомаго студента-оратора и еще одну курсистку-бестужевку. Меня посвящаютъ въ петербургскія новости: въ «Крестахъ»—тюрьма, гдѣ сидитъ женихъ Гали,—быль

бунтъ; заключенныхъ тащили въ карцера, били; съ кѣмъ-то сдѣлался страшный припадокъ... фамилія неизвѣстна...

Галя, ребенокъ Галя, шалунья съ пушистыми бѣлокурыми волосами, теперь преобразилась: ноздри и губы, съ выразительнымъ изгибомъ, вздрагивають, въ большихъ голубыхъ глазахъ появился холодный стальной отливъ и мелькаютъ мрачные огоньки. Она ли это, которую обычно считаютъ несеріозной, безъ запросовъ, большой охотницей подурачиться, принарядиться, убрать покрасивѣе комнату, иногда заглянуть въ церковь?

Становится тихо и грустно за чайнымъ столомъ. Настя съ Галей выходятъ подогрѣть самоваръ,—и я пользуюсь моментомъ, чтобы разспросить товарищей о Настѣ, подойдетъ ли она для Кронштадта.

Мнѣ вмѣсто отвѣта протягиваютъ тетрадку, испещренную длинными столбцами цыфръ. Это Настя хочетъ самостоятельно, по капитальнымъ трудамъ, разобраться въ аграрномъ вопросѣ.

— Это—мученица,—говорить студентъ: — подготовки нѣтъ, а на вѣру братъ ничего не хочетъ. Добросовѣстность рѣдкостная, душа горить беспокойно; мечется, какъ въ лихорадкѣ, между наукой и революціей. На митингахъ, бывало, много глазъ видишь, но эти изъ тысячи ихъ выдѣлишь,—особенные. И познакомились мы съ ней на митингѣ: подошла въ концѣ за разъясненіями. Вотъ еще ея бѣда: аскетизмъ самый суровый. Посмотрите хотя бы на эти косоворотки! на весь этотъ внѣшній нигилизмъ, такъ не идущій къ ней! Это все говорить въ ней ея христіанство!...

Курсистка вспыхиваетъ:—Ну, знаете, уtkнулись вы въ мелочи, за деревьями не видите лѣса. Въ этомъ ея цѣльность натуры, законченность. Идея для нея такъ велика, такъ властна, что для нея она должна всѣмъ пожертвовать. Иначе она не можетъ, сдѣлать что-нибудь въ половину она не способна!

Загорается споръ, чисто русскій, жаркій, безпорядочный.

— Но вѣдь вы фанатизмъ проповѣдуете! Тотъ фанатизмъ, который лучшихъ людей французской революціи сдѣлалъ суровыми манекенами, превратилъ въ камень ихъ золотыя сердца, отравилъ ихъ великую любовь къ родинѣ, какъ у инквизиторовъ отравилъ любовь къ Богу.

— Что онъ говоритъ! Что онъ говоритъ!—возмущено всплескиваетъ руками курсистка, повернувшись въ мою сторону:—Это о Настѣ, о нашей Настѣ, которая, удѣляя революціи тринадцать часовъ въ сутки, умудряется четырь-

надцатый и пятнадцатый вложить въ заботу о больныхъ и нуждающихся товарищахъ! Гдѣ же ея фанатизмъ? Гдѣ жъ ея каменное сердце?

— Но вы совсѣмъ меня понимать не хотите! Я же говорю: ея сердце золотое, только...

— А я вамъ говорю: христіанство съ малыхъ лѣтъ не губило ее, а, напротивъ, закаляло въ ней волю, выковывало ея сердце,—оно вѣдь у нея чеканеное,—привило и развило идею долга. Пусть порой она нарочито суха и сурова,—но вѣдь это же только маленькая пересаливанія, которая жизнь смоетъ съ нея быстрехонько... А, вотъ и она! Эхъ, ты, моя пуританочка!—подалась она съ внезапной нѣжностью къ Настѣ, входившей съ кипящимъ самоваромъ.

— Опять про меня сплетничали?—подняла она свое раскраснѣвшееся отъ тяжелой ноши лицо, передавая самоваръ подскочившему студенту:—про прическу мою злосчастную et cetera?

— Ну, видитъ Богъ!—съ комическимъ негодованіемъ восклицаетъ студентъ,—пришелъ съ самыми лучшими намѣреніями,—а вы, задиры, сскору затѣваете!

Настя разсыпается серебристымъ смѣхомъ. Она сегодня особенно оживлена и разговорчива. Старается развеселить Галю, втянуть въ общій разговоръ о чёмъ-то задумавшуюся курсистку, хлопочетъ около стола, разливая чай, угощая сластями. Сквозь обычную суровость прорывается что-то праздничное, нарушая весь ея пуританскій тонъ и все собою освѣщающая. Глаза ея, нѣтъ-нѣтъ, и засвѣтятся, сквозь мягкую, задумчивую печаль, молодымъ весельемъ. Непрятязательно причесанные волосы, нѣтъ-нѣтъ, и выбются красивой прядкой на горящую щеку. Даже кофточка, сидя мѣшкомъ, все же какъ будто улыбается своими бѣлыми, по розовому полю, горошинами. Ея серьезно сложенные, еще дѣтскія губы раздвигаются въ широкую блестящую улыбку.

— Ужъ не именинница ли ты?—шутливо спрашиваютъ ее.

— Я? Нѣтъ... Впрочемъ, можетъ-быть, и да!—вдругъ восклицаетъ шаловливо она и пытливо-вопросительно смотрѣтъ на меня. Я отворачиваюсь отъ ея взгляда...

Гости разошлись. Настя вышла проводить ихъ. Я одна. Гляжу въ окно поверхъ крыши на миллионный городъ, который я обѣгала за день, тщетно разыскивая подходящую женщину для Кронштадта. Или въ самомъ дѣлѣ очередь за Настей? Опять она, хрупкая, неокрѣпшая,—среди этой стихіи, грозящей, того и гляди, разразиться ураганомъ бунта?

Донесся слабый перезвонъ, — должно-быть Петропавловские куранты. Тамъ сейчас нашъ общій знакомый, секстанъ-мистикъ. Настю онъ всегда называлъ «обреченней». Помню также, когда Настя съ подругой собирались какъ-то поселиться на Ситномъ Рынкѣ, онъ рассказалъ намъ какъ около двухъ сотъ лѣтъ тому назадъ на этомъ самомъ Ситномъ Рынкѣ была обезглавлена Настасья Карпова, мученица за вѣру...

И воскресаютъ въ памяти слова старинной сектантской пѣсни;

«Ты Настасья, ты Настасья,
«Отверзай Царски врата!
«Встрѣчай Батюшку Царя!
«Съ милосердьемъ, со крещенемъ,
«И со свѣтлымъ воскресеньемъ!»

Оглядываюсь. Позади стоитъ Настя. Довѣрчиво кладетъ мнѣ руки на плечи.

— Что, Настя?

— Я жду.

— Не раздумала?

— Я? Я раздумала? Попасть въ заповѣдный Кронштадтъ?

— Посмотрите, Настя, какъ васъ всѣ здѣсь любятъ. Здѣсь у васъ друзья, книги, здѣсь жизнь, развитіе. А тамъ у насъ суровость, сухость: дѣло, дѣло и дѣло. Тамъ не до отдаѣльного человѣка. И среда грубая. И такой рискъ въ ваши девятнадцать лѣтъ: тамъ вѣдь военное положеніе...

Глаза ея тускнѣютъ: — Не довѣряете...

Я молчу. Настя тоже молчитъ и принимается за уборку и за мытье посуды, — спокойно, неторопливо. Складка залегла между бровей, лицо грустное.

Подойдетъ! — думаю я: — никто иной, а именно такая, какъ она. Не изливается, сдерживается.

— А я было уже повѣрила... — начала она тихо: — уже стало свѣтло на душѣ... Я какъ въ гробу здѣсь... А ваша жизнь мнѣ представляется, какъ та, осенняя, когда мы были въ военной организаціи. Хорошо тогда было...

— Почему вы такъ думаете о нашей жизни?

— Знаю. Вижу. Чувствую.

И черезъ минуту:

— А вы кого-нибудь нашли?

— Нѣтъ.

— Но вѣдь завтра утромъ Вамъ возвращаться?

— Непремѣнно.

— И женщина необходима?

— Необходима.

— Возьмите меня... На время... до другой. Я буду... за каждымъ своимъ шагомъ буду слѣдить, буду такъ осторожна, такъ внимательна.

Я молчу. Тихо и мучительно плывутъ минуты. Настя сидѣтъ, глубоко задумавшись. Душистый воздухъ лѣется въ комнату, щемитъ сердце. Что-то бьется и трепещетъ внутри.

Настя вдругъ встрыхивается, словно что-то рѣшила. Сжала крѣпко мои руки, глаза близко наклоняются къ моимъ, въ самую глубь заглядываютъ, такие расширенные, такие особенные, словно вся душа къ нимъ придвигнулась, внезапно окрѣпшая въ какомъ-то рѣшеніи, и глядитъ оттуда, серьезная, ясная.

Боже! Что за глаза у нея! Я не въ силахъ оторваться отъ нихъ. И опять мнѣ вспоминается: обреченная. И опять словно кто то, неизвѣстный, завелъ далекіе, еле уловимые куранты, и кто-то, невидимый, запѣлъ имъ въ тонъ:

«Съ милосердьемъ, со крещенемъ,
«И со свѣтлымъ воскресеньемъ!»

— Хорошо, Настя. Ёдемъ!

Она вздрогиваетъ и, вся просиявшая, повертывается ко мнѣ.

— Я такъ и знала, — тихо говорить она, сдерживая восторгъ и только крѣпко скимая мнѣ руки. Мягкіе потоки свѣта струятся изъ ея глазъ.

ГЛАВА XII.

Житѣ-бытие.

Я снова въ Кронштадтѣ. Ищу квартиру для себя и Нasti. Мы — двѣ сестры-крестьянки изъ Тамбовской губерніи... Но какъ же дороги квартиры! Какой-то заплѣснѣлый подвалъ — шесть рублей въ мѣсяцъ. Другой — пять рублей: на дворѣ кучи мусора, зловоніе, нельзя пройти, не зажимая носа. Въ улицахъ почище — новая бѣда. Узнавъ, что къ намъ будутъ приходить родственники-матросы, рѣзко отказываются: — «нѣтъ у насъ для васъ фатеръ».

На мое счастье встрѣчается вездѣсущій Сорокинъ и мигомъ выручаетъ изъ бѣды. Указываетъ тѣ части города, куда матросы къ дѣвицамъ ходятъ: тамъ безопасно и свободно. Въ тотъ же вечеръ найдена квартира изъ двухъ комнатъ съ кухней. На другой день прїѣзжаетъ Настя, и мы водворяемся на «новоселье».

Насъ встрѣчаетъ дворникъ, хмурый человѣкъ лѣтъ сорока, помогаетъ тащить узлы. Предпочла-бы бытъ по-

меньше въ его обществѣ — слишкомъ ужъ приходится быть на-сторожѣ при разговорахъ.

— А небель-то, видно, опосля?

— То-то что опосля. Не куплена еще.

— Не куплена? А ну-кась-те, гляньте, молодушки, у меня есть случай такой...

Черезъ часть Насти уже работаетъ на дворѣ надъ какимъ-то старымъ-старымъ, завалящимъ хламомъ, сторгованнѣмъ при помощи дворника за 1 р. 95 коп. Я радуюсь: совсѣмъ, можно сказать, даромъ цѣлая обстановка! Насть — та прямо сияетъ. Да съ тѣхъ поръ, какъ я замѣтила ее на пароходѣ, она не перестаетъ сіять тихой радостью. Радъ чему-то и дворникъ. Разглаживаются его морщины, умилительно улыбаются впалые, каки-то трагическіе глаза. Онъ хлопочетъ около насъ, ташитъ большой кухонный ножъ, и чайникъ кипятку, и Насть тутъ же на дворѣ, засучивъ рукава, принимается за работу. Нещадно скоблить она и поливаетъ водой всѣ эти кривые, шатающіеся столы, стулья и скамейки какого-то сѣро-желто-зеленаго цвѣта съ голубыми и черными бархатистыми пятнами. Толстыми жирными слоями отваливается застарѣлая грязь и плѣсень, и весело проглядываетъ древесина, словно радуясь избавленію отъ долгаго плѣна.

Я таскаю по одной очищенной вещи наверхъ. Возвращаясь, слышу обрывки разговора Насти съ дворникомъ: тотъ про свою жизнь нездачную разсказываетъ. Насть полна самаго сосредоточеннаго вниманія и участія.

Откуда то выползаетъ мальчуганъ съ большимъ животомъ, въ одной рубашенкѣ, и замираетъ, раскрывъ ротъ и засунувъ палецъ въ слюнявые губы. А потомъ по-тихонько подходитъ и начинаетъ раскачивать столъ.

— Я те дамъ, пострѣленокъ! Цыцъ ты! — шугаетъ его дворникъ: — чего тутъ путаешься? Вотъ безъ разума-понятія мать родила!

Поднявъ отъ работы раскраснѣвшееся счастливое лицо, Насть гладитъ ребенка по головѣ, а потомъ продолжаетъ прерванный разговоръ:

— Ну, и давно это она бросила васъ?

Вижу, Насть всѣхъ вокругъ располагаетъ въ свою пользу, всѣ прямѣ таютъ при видѣ ея тихой сіяющей улыбки. А я-то боялась!

Вносимъ «небель», разставляемъ, подпираемъ кое-какъ недостающія ноги, что-то укрѣпляемъ гвоздями, что-то подвязываемъ. Дворникъ идетъ на чердакъ за досками для кроватей.

— Ушелъ! — шепчетъ Насть, прислушиваясь у полуоткрытой двери. Потомъ подходитъ ко мнѣ, и крѣпко-

крѣпко сжимаетъ мнѣ руки, сама ничего не говоритъ; и опять, какъ въ Питерѣ, важные, большущіе глаза смотрѣтъ на меня.

— Даша? Не ругаете, что напросилась? Хорошо-то какъ! Даша! Господи!

Слышатся шаги. Насть спокойно поворачивается въ сторону двери.

— Вотъ онѣ, сосновыя! Добротныя будутъ, выдернутъ. Ну, да и то сказать, тѣломъ-то вы не больно корпунсыя. А куды бы, молодушки, класть-то ихъ?

Онѣ совсѣмъ готовы купить въ лавочкѣ ящики изъ-подъ товару: и въ голову и въ ноги по подставкѣ. Пока кладемъ доски на полъ и покрываемъ прямо одѣяломъ.

— Такъ-то быдто жестко!.. Чего-то бы надо еще, ась?

У меня все время въ душѣ два желанія борются. Съ одной стороны жду-не дождусь, когда онѣ оставитъ насъ: Уйди, уйди, не томи душу! — думаю я. — Этакъ во всѣ углы влѣзешь, все высмотрѣши, не слѣпой вѣдь, сразу поймешь, что мы не настоящія... Эхъ, ужъ очень Насть съ нимъ по-добру. Ни къ чему это, право!

Но съ другой стороны: дружба съ дворникомъ! Какъ цѣнно можетъ быть его покровительство при справкѣ изъ полиції! Нѣтъ, Насть все дѣлаетъ прекрасно. Мнѣ такъ не сумѣть бы...

— Тѣло-то у васъ хоть и молодое, а на мягкому то вольготнѣе, ась?

— А мы тюфяки сошьемъ, али сѣнники, вотъ и мягко будетъ! — весело успокаиваетъ его Насть.

— То-то, я же то и говорю, вольготнѣе такъ-то, вольготнѣе!

— Да, да, спасибо... Какъ васъ по имени-то? — выправаживаю я его.

— Ась? Меня-то? Дорофеичемъ. Такъ ужъ пошло: Дорофеичъ и Дорофеичъ, такъ Дорофеичемъ и зовусь.

— А по крещенью какъ?

— По хрищенью? Сидоромъ, молодушки, Сидоромъ.

Спрашиваю его про базаръ, про дрова, про сѣстры припасы, вообще про все, что по моему мнѣнію полагается знать обстоятельной хозяйкѣ.

Онѣ указываютъ черезъ окно, гдѣ базаръ, гдѣ мелочная лавка. Потомъ задумываются, глядя на море, видное изъ окна, на сѣрѣющіе контуры броненосцевъ. Угрюмо говорить про войну, про племяша, загубленного вотъ на этажѣ же «смертоносцѣ»...

— А вы сами-то отколева будете? — поворачивается онѣ вдругъ ко мнѣ. Отъ печальныхъ воспоминаній его лицо кажется почернѣвшимъ, враждебнымъ. Мнѣ не по себѣ дѣлается подъ этимъ взглядомъ.

— Тамбовскія мы.

— Тамбовскія? — вдругъ оживляется онъ. — Матерь Божія! Наши, значитъ! А мнѣ-то значитъ бы и невдомекъ! Такъ вѣдь, къ слову и спросилъ-то. А уѣздъ какой?

Полный радостно напряженного любопытства, смотреть на насъ.

— Моршанскаго,—съ усиліемъ выдавливаю я. Господи, никогда въ жизни тамъ не бывала даже!

— Моршанскаго, баете?—еще болѣе свѣтлѣеть и расплывается онъ:—Совсѣмъ земляки, стало-быть! Эко, какъ негаданно! Вотъ дивушко!

— А вы какой волости? — выручаетъ меня Настя, догадавшись, что въ такихъ случаяхъ лучше самимъ наступать, чѣмъ ожидать удара.

— Волость то? Волость наша Селенгинская. А ваша?

— И мы оттуда же!—почти хриплю я.

— Да что вы, молодушки! Вотъ оказія-то! Вотъ оказія! То-то я обробѣль, какъ вѣзжать вы начали! Сердце, значитъ, чуяло. Да какъ же я васъ не знаю-то? Чтой-то словно не видаль будто!—безцеремонно оглядываетъ онъ насъ.—Далеко ваша деревня, что ли? Я-то изъ Свѣтлогоръ.

— А мы изъ Митягина.

— Ну, такъ это же почитай что рядомъ! Черезъ рѣчку этакъ, на бугорочекъ-то какъ взберешься, да пройдешь Барскія Новины, тутъ тебѣ и будетъ Митягино. Много-много, коли будетъ пятнадцать верстъ отъ насъ.

Онъ словно воскресъ. Оживленно жестикулируетъ. Напоминаніе о родной землѣ всколыхнуло его деревенское сердце.

— Вы чьи же?

— Мы? Терентья. Слыхали?

— Не приходилось. А Миколая Митрича, чай, знаете? Дружокъ онъ мнѣ.

— Нѣтъ, не знаемъ.

— Старшину-то? Старшину, да не знать! Первый чоловѣкъ на всѣ Свѣтлогоры! Въ третиѣмъ году къ самому Государю Императору требовали.

— Мы давно оттуда, все въ городѣ проживаемъ... маленькой я увезена,—защищается Настя.

— Ну, ты-то маленькой, а ты, чай, побольше, должна помнить.

Его лицо вытягивается, высоко подняты недоумѣнныя брови. Я ужъ готова ждать самаго худшаго.

Значить бы не знаете? Та-а-къ-съ!.. Да и то сказать, дѣло ваше женское. А я-то думаль было про родину побалакать... Ну, съ тѣмъ и до свиданья. Счастливо оставаться!

Мучительная ночь на доскахъ. Да и не до сна намъ. Обсуждаемъ свое положеніе. Рѣшаю все-таки оставаться: авось, пронесеть. Да вѣдь другого выхода въ сущности и нѣтъ. Утромъ Настя ташитъ съ базара всяку зелень, а я веду за собой цѣлый возъ дровъ. Съ какой жалостью отдавала я плату за эти дрова! Цѣлыхъ три рубля! Словно живой кусокъ отъ сердца отрывала. Но чего, кажется, не отдали бы мы, на какія жертвы не пошли бы, лишь бы зарекомендовать себя дѣловитыми хозяйствами!

Убрали кухню. Пустыя полки поплотнѣе завѣсили, а на видное мѣсто разставили все свое достояніе: четыре стакана, машинку керосиновую, три ложки оловянныхъ, ножъ и сковороду, да еще кухонный горшокъ старый, выторгованный въ придачу къ мебели. Около печки наложили принесенную изъ дровяника кучку дровъ.

Стучать сильно въ дверь. Обѣ вздрагиваемъ. Дворникъ.

— Каково почивали, молодушки? Ась? Здоровенько, здорововенько! Навѣдаться, стало-быть. Да вотъ еще на счетъ документиковъ...

«Документиковъ»!.. Что можетъ быть для русскаго революціонера ненавистнѣе этого, такъ ласково произносимаго слова, отъ котораго всегда невольно сжимается и екаетъ сердце!

— Хозяинъ-то твой... я къ тому, значитъ бы, какъ онъ? скоро прибудетъ?

Рассказываю цѣлую исторію, придуманную за ночь. Собрались, дескать, совсѣмъ переѣзжать сюда, и мѣсто ему здѣсь обѣщано, какъ вдругъ письмо изъ деревни: отецъ его при смерти. Поплакали, поплакали, а что будешь дѣлать? Довезъ насъ до станціи, посадиль на чугунку, а самъ прямо въ деревню.

— И ничего вотъ, не заблудившись доѣхали!—съ наивнымъ видомъ хвалился Настя.

Дворникъ, вижу, на нее поглядываетъ ласково.

— Видно, подождать малость? Ну что жъ, и обождемъ. Чай, не горитъ, бѣжать некуда.

Яснѣе яснаго, что гроза миновала безслѣдно. Какъ гора спадаетъ съ плечъ. За милую душу калякаемъ съ Дорофеичемъ.

— Ничего фатерка? Ась? У насъ хорошо, тихо...

Мы наперебой рассказываемъ, какой у меня «хозяинъ» смирный да добрый: что сработаетъ, все въ домъ. А онъ про свое горе семейное, про матроса-племяша, на Дальнемъ Востокѣ на «калошѣ» потопленнаго.

— Въ деревнѣ теперь въ пять голосовъ гудуть, пить-хоть хочу. Охъ, ужъ эти смертоносцы проклятые!..

Приходятъ кое-кто изъ нашихъ знакомыхъ. Одинъ невзрачный солдатикъ, которого я впервые вижу, осмотрѣвъ нашъ новоселье, исчезаетъ, и вскорѣ возвращается, таща съ собою что-то большое, бѣлое.

— Чехлы это для матрасовъ, чистенькие! Вотъ набить ихъ чѣмъ-нибудь, преотлично будетъ!

Поражаетъ меня и трогаетъ эта забота о нашихъ удобствахъ.

— Какъ же! Надо, чтобы нашимъ барышнямъ было поудобнѣе. Да и передъ дворникомъ прилику больше.

— Но вѣдь это же казенное добро!—вдругъ соображаю я.

— Все равно, зря въ складѣ валяется, мыши ёдятъ. Неужели побрезгуете?

— Пусть и казна революціи послужитъ!—замѣчаютъ другіе.

Появляется на моментъ, какъ метеоръ, Сорокинъ. Оглянуль кухню, комнаты:

— Ну и добра!—разводить онъ руками:—сито съ обычайкой да вѣникъ съ шайкой.

— Не шутите!—говорю я, указывая на мѣшки:—у насъ скоро матрасы будутъ! И кровати изъ досокъ самая заправская!

— Ахъ, виноватъ! Ошибся!—поправляется онъ, дѣлая подъ козырекъ:—скотины—тараканъ да жуколица, посуды—крестъ да пуговица, одежи—мѣшокъ да рядно!..

Никита и Дмитрій обѣдають обычно у насъ.

— Не обезсудьте, гости дорогие, другого ничего не присено,—говорю я, убирая со стола сковороду, прямо изъ которой обычно всѣ мы вмѣстѣ ёдимъ яичницу, наше всегдашнее блюдо.

— А супцу этакъ горяченькаго, нѣту?—подмигиваетъ Дмитрій Никитѣ;—али кашки бы съ маслицемъ?

— Еще чего?—накидываюсь я:—можетъ, пулярки съ фрикадельками? гуся жаренаго? бламанже съ пуддингомъ?

— Солдаты вотъ ёдятъ же!

— Да-а, не разъѣшься! Голодновато!—растягивая вторить Никита.

— Чего вамъ еще надо? По два яйца въ день на человѣка, а хлѣба—сколько угодно! И чаю безъ конца!

— Конечно, съ голоду и чаю радъ, и отъ сна и отъ усталости лѣчитъ.

— А все на пустой желудокъ... круги передъ глазами. Да и дѣлу вредъ!—не унимается Дмитрій.

— Да вы не шутя, кажется, голодный бунтъ затѣваете?

Лучше посчитайте-ка капиталы: можемъ ли мы 50 коп. на чайникъ истратить? Этотъ на время данъ, вернуть надо.

Впрочемъ, отсутствіе разносоловъ не очень-то влияетъ на расположение духа нашихъ мужчинъ. Особенно Дмитрій—вѣчно выкинетъ какое-нибудь «колѣнце».

Однажды, напримѣръ, влетаетъ онъ къ намъ въ самомъ дурачливомъ настроеніи. Видя, что съ уборкой комнаты возится Настя, выхватываетъ у нея вѣникъ изъ рукъ и «берется за дѣло самъ». Разставивъ длинныя прямые ноги, перегнувшись въ поясъ пополамъ, и протянувъ далеко и неуклюже руки, съ уморительными гримасами старательно размахиваетъ вѣникомъ, вздымая цѣлые клубы пыли и разнося ее по комнатѣ. Всѣ покатываются.

— Что это съ вами сегодня, Дмитрій?

— Со мной, молодушки?—передразниваетъ онъ нашего дворника, и такъ похоже, что вызываетъ новый взрывъ смѣха:—Ась? Аль ослышался?

Хохотъ, шутки... Сколько тутъ ребячества!.. Но кругомъ слишкомъ ужъ много серіознаго, порою мучительно сложнаго, и эта способность къ безпредметному, безудержному веселью—прямо кладъ. Такъ мы незамѣтно даемъ отдыхъ своимъ тугу натянутымъ нервамъ.

ГЛАВА XIII.

Нашъ рабочій день.

Итакъ, мы обзавелись своей квартиркой. Главное ея удобство: по вечерамъ можно сидѣть, сколько угодно, все сообща обдумывать, все обсуждать, не спѣша. Днемъ за дѣлами и бѣготней некогда. Есть и запасная комната для мужчинъ и для пріѣзжихъ. Мы часто засиживаемся до разсвѣта. Да и какъ иначе? На первыхъ порахъ все кажется такимъ сложнымъ и важнымъ, каждый шагъ—такимъ отвѣтственнымъ, а собственные силы—такимъ ничтожными, и свой опытъ—такимъ недостаточнымъ! А между тѣмъ въ ходѣ работы раскрываются такие горизонты, дѣло такъ растетъ... и насъ такъ мало!

Впрочемъ нашего полку прибыло. У насъ остается рабочій Костя, недавно вышедший изъ тюрьмы. Онъ побывалъ уже за границей, жилъ тамъ долго, работалъ на французскихъ и нѣмецкихъ фабрикахъ, освоился съ языками, слушалъ лекціи въ Высшей Русской Школѣ въ Парижѣ. У него много молодого умственного горѣнья и какая-то цѣпкость мысли. Онъ и энтузиасть и въ тоже время страшный резонеръ, и любить «разводить философію». А намъ время дорого, и Никитѣ приходится порой со смѣхомъ

хомъ нахлобучивать фуражку на его наголо остриженную, круглую, какъ шаръ, голову — и тащить куда-нибудь за собой или выталкивать съ порученіями, приговаривая: «У насъ, братъ, отучишься разговоры разговаривать, не до того!»

Костя немножко черезчуръ носится со всѣмъ тѣмъ, что дѣлаетъ онъ самъ. Обижается, когда къ нему недостаточно внимательны. Часто говоритъ: «Вы извините, ужъ мы, рабочіе, по-просту», или: «Ну да, конечно, куда мнѣ! Потому что я рабочій, у меня только смѣшно все выходитъ!»

Никита тоже рабочій, но съ нимъ ужъ и думать мы забыли про классовыя или сословныя перегородки. Когда-то въ Петербургѣ были и у него эти нотки. Но совмѣстная работа лучше всего вылѣчиваетъ отъ болѣзниенной подозрительности, готовой повсюду видѣть неравенство въ отношеніяхъ между интеллигентами и рабочими. Войдѣть когда-нибудь въ колею и Костя. Но пока приходится быть съ нимъ на-сторожѣ.

Какъ онъ присоединился къ намъ? Для этого достаточно было ему побывать на одномъ изъ нашихъ митинговъ.

— Ахъ, чортъ васъ всѣхъ возьми! Да что же это такое! Да какія же тутъ дѣла! Чтобъ имъ... чтобъ вамъ!.. вѣнѣ себя отъ восторга восклицалъ онъ потомъ, заикаясь и теряясь въ словахъ отъ волненія.

— Вѣдь это... вѣдь что это такое!.. Глянешь въ одну сторону — синимъ-сине отъ матросскихъ форменокъ, глянешь въ другую — сѣрымъ-сѣро солдатское море, въ третью — рабочіе, старики, жены съ дѣтьми... Единеніе арміи и пролетаріата! Это, братъ, почище будетъ всякой Западной Европы!.. Душу вы всю во мнѣ разожгли, вотъ! Ну, теперь и берите меня къ себѣ, совсѣмъ берите! Должны взять, вотъ вамъ, вотъ!

— Ага! Проняло! — усмѣхается Никита.

— Я же говорилъ, нельзя безнаказанно въ Кронштадтъ прїѣхать! — ликуетъ Дмитрій.

День за днемъ бѣгутъ быстро, незамѣтно. Странная у насъ жизнь: односторонняя, однобокая, но въ то же время такая богатая разнообразными ощущеніями и переживаніями!

Какъ-то на дняхъ просыпаюсь рано утромъ отъ страшного шума. Что такое? Громкіе мужскіе голоса, кто-то безцеремонно громыхаетъ на кухнѣ. Выглядываю на моментъ въ деревянную щелку: солдатскія пуговицы! Ужъ не полиція ли съ обыскомъ нагрянула? Но нѣтъ, по голосу узнаю знакомаго солдата, по кличкѣ «Эсѣрушку». Онъ

стрѣмительно несется съ ведромъ въ рукѣ въ комнату мужчинъ и, полу-шутя, полу-серіозно, ругательски ругается:

— Что? Дрыхнуть? Наши на массовку собрались ни свѣтъ ни заря, ждутъ; я версты четыре проперъ за нимъ, а онъ, — ора-а-то-орръ! — на другой бокъ заваливается! Это что же такое! — кричать онъ, нисколько не стѣсняясь ни раннимъ часомъ, ни нами, ни сосѣдями: — А водички холдной не желаешь? Нѣтъ? Эхъ, вы, ен-те-ли-генція-я! — съ величайшимъ презрѣніемъ кидаетъ онъ.

— Эсѣрушка, не дури! Да не дури, чортъ! Батюшки! Да онъ и вправду поливаетъ! Карауль! — вопить Дмитрій изъ своей комнаты.

Поднимается возня, ведро съ грохотомъ летить къ нашей комнатѣ, вода льется изъ-за двери.

— Да тише же, товарищи! Вѣдь сосѣдей перепугаете!

Въ мою комнату влетаетъ взлохмаченный солдат невысокаго роста, лицо красное, глазами ворочаетъ во всѣ стороны, длинные рукава болтаются по воздуху.

— Въ чёмъ у васъ тамъ дѣло?

— Въ чёмъ дѣло? — передразниваетъ онъ меня обиженно и раздраженно: — да въ томъ и дѣло, что на массовку вотъ итти не хочетъ, дрыхнетъ, чортъ! Вотъ какіе ваши!

— Не правда! Не слушайте его! Мнѣ сейчасъ въ городъ надо, не разорваться же!.. Ну, что ты со мной надѣлалъ, Эсѣрушка! Какъ я теперь въ городъ покажусь! Словно съ пожара!

— А мнѣ-то что? коли наши ждутъ! На то вы и есть, ентелигентія! За этимъ и созданы!

— Раньше должны были предупредить! Не одни вы у насъ на рукахъ!

— Должны, должны! А коли сами не знали, что свободными окажемся! Не пропадать же времени! Ну, айда, нечего прохлаждаться.

Приходится разобрать между собою всѣ дѣла Дмитрія, а его отпустить на неожиданно слѣпленную солдатскую массовку.

Поздно вечеромъ приходятъ Никита и Костя, вѣнѣ себя отъ радостнаго возбужденія. Не сразу можемъ понять, въ чёмъ дѣло, говорятъ что-то неясное, путаное. Наконецъ составляемъ себѣ смутное представление о томъ, что произошло. Было собраніе съ командами, уходящими въ плаваніе. Читали имъ уставъ военной организаціи. Казарменная обстановка, полутьма, рискъ быть захваченными «на мѣстѣ преступленія» начальствомъ, ожиданіе отъѣзда, — все это создавало особенное настроеніе, взволнованное

и немножко жуткое. Когда кончили, при единственномъ тускломъ огarkѣ, чтеніе и разъясненіе всѣхъ пунктовъ, пошли какіе-то совсѣмъ особенные, задушевные разговоры, что-то такое скрутилось, свилось и размоталось въ душѣ. Разстались только на зарѣ, обнимались, какъ братья, у иныхъ слезы блестѣли на глазахъ. И снова говорили, и снова свободно, изъ самыхъ глубинъ души, лились такія слова, такія слова... И снова клялись не волноваться и не бунтовать зря, а когда будетъ нужно, — положить душу за народное дѣло. Какъ пьяные, ушли домой Никита и Костя. Не только поняли они, но и всѣмъ существомъ почувствовали, насколько за это короткое время выросли и умомъ и душою наши матросы. Чувствовалось какое-то особенное великое спокойствіе за судьбу дѣла, которое такъ развивается на первыхъ же порахъ.

Бурно восторгается Дмитрій, только что вернувшійся съ массовки, ходитъ колесомъ, ставя все въ квартирѣ вверхъ ногами. По особому сіаетъ Никита, тихо млѣя и поглаживая то бороду, то лѣвую руку выше локтя, медленно, старательно и любовно. У Кости оттопыриваются рубиновые губы, мечтательно блуждаютъ голубые глаза, еще туманнѣе, чѣмъ обычно, становится какъ будто заикающаяся рѣчь.

И всѣ, кто ни попадаетъ къ намъ въ этотъ день, пьянятъ, подышавъ воздухомъ нашей квартирки, и такъ же глупо и счастливо улыбаются, и совсѣмъ порою не къ мѣstu рассказываютъ что-нибудь веселящее, бодрое, хорошее.

Послѣ обѣда съ шумомъ распахиваетъ дверь незнакомый мнѣ матросъ.

— А, Степанъ Ежикъ! — встрѣчаютъ его Дмитрій и Никита. Здороваются, полуобнимаясь, и радостные, понимающіе другъ друга съ полуслова, съ полуулыбки, долго и оживленно толкуютъ у окна. Прямо завидно глядѣть на нихъ.

— Ну что, благополучно все сошло? Не дознались?

— Ни съ эстолько! завтра заступаемъ (уходимъ въ плаванье). Теперь только за вами дѣло: меня ребята на счетъ литературы послали. Привезена?

Съ литературой у насъ плохо. За нею послана въ Петербургъ Настя. Мы ждемъ ее съ часу на часъ, а ея все нѣть и нѣть.

— Вотъ такъ притча! — говорить въ раздумья Степанъ, проводя раскоряченной пятерней по лицу и по остриженнымъ ежикомъ волосамъ, за которые онъ и получилъ свое прозвище. — А мнѣ безпремѣнно наказывали при-

нести. Экая незадача, право! Жалко, то-исть, вотъ какъ! Заругаются теперь ребята... Ну, да ничего! — вдругъ примиряется онъ: — На нѣтъ и суда нѣтъ... Ничего, обойдутся! — уже совсѣмъ рѣшительно заключаетъ онъ, и заговориваетъ уже совсѣмъ другимъ тономъ:

— А вы послухайте, что у насъ въ экипажахъ дѣлается! Покорности тамъ, робости либо страху — слѣда нѣтъ! Шкурѣ грозятся, — онъ сегодня задравъ хвостъ убѣжалъ! Совсѣмъ осмѣлѣли ребята!

Поздно вечеромъ возвращаюсь домой, избѣгавъ полгорода. Ощупью поднимаюсь по лѣстницѣ. Въ кухнѣ тихо и темно. Дверь въ комнату полуоткрыта. Изъ угла глядитъ купленная нами задешево почернѣвшая отъ старости икона. Передъ ней теплится тоненькая восковая свѣчка. Трепетный полусвѣтъ, тѣни по угламъ, закрытое почему-то окно, — все такъ необычно. Подхожу къ нашей постели.

— Настя! — зову я тихо.

— Я! — отзыается тихій голосъ изъ-подъ шали.

— Это ты... зажгла?

— Я! — все такъ же беззвучно отвѣчаетъ она и нехотя поясняетъ: — Суббота сегодня, для дворника, коли зайдетъ.

Ея фигура, закутанная въ шаль, почти сливаются съ окружающимъ сумракомъ. Молчаніе.

— А литературу привезла?

Странно, что сама она не заговариваетъ обѣ этомъ.

— Привезла.

— А почему днемъ не прїхала?

Молчаніе.

— Настя, почему такъ поздно?

Ближе наклоняюсь къ ея лицу, — и обрываю на полусловѣ. Вижу, какъ онакусаетъ губу, какъ лицо ея дергается въ мучительной гримасѣ. И вдругъ расплакалась безпомощно, горькимъ, дѣтскимъ плачемъ. Сжимаетъ пальцы, такъ что хрустятъ.

— Матросы приходили?... за литературой?

— Приходили.

— Суда ушли?

— Уходятъ. Матросы уже простились съ нами.

— И безъ литературы! Господи! — стономъ вырывается у нея.

— Да что ты, Настя? Ничего особенного не случилось вѣдь. Много было заготовлено раньше. Успокойся, все обошлось.

— Я... видишь... видишь...

Она давится слезами и не можетъ выговорить слова, вытираетъ слезы, размазываетъ ихъ по лицу, какъ малый ребенокъ. Глаза и ность у нея вспухли. А новые слезы все набѣгаютъ.

Наконецъ она немного приходитъ въ себя и кое-какъ разсказываетъ. Обычная исторія. Адресъ склада ей сообщили невѣрно. Пока разыскала людей, которые знали его, складъ уже закрыли. Побѣжало частнымъ образомъ добывать литературу, а тутъ и пошли цѣпляться неудачи одна за другую.

— Туда, сюда! Какъ на зло, никого застать не могу. Думала, съ ума сойду!

Слезы снова набѣгаютъ на глаза.

— Фу! Стыдно, что плачу, но такой мучительный день выдался, такой мучительный!

Несу ей воды умыться. Бѣдная Настя! А у насть-то сегодня день такой, наоборотъ, счастливый!

— И все-таки привезла?

— Ну да, столько-то разыскала!—показываетъ она на изрядный тюкъ въ углу.

— Да ты ъла что-нибудь?

— Куда тамъ! До ъды ли ужъ тутъ!—безнадежно вздыхаетъ она.

— Глупенькая! Вѣдь оттого у тебя нервы такъ и разошлись!

Смѣется сквозь слезы, а плечи все еще вздрагиваютъ, волосы раскидались въ беспорядкѣ, лицо горитъ, а сама въ шаль кутается.

Готовлю ей чай. Подвигаю скамейку къ постели, ставлю на нее чайникъ, чашки, хлѣбъ. Съ жадностью проглатываетъ и одну чашку и другую.

Я кляну свою нечуткость, не могу спокойно видѣть ея склоненную голову, опущенные плечи, всю ея словно подкошенную фигуру.

— Успокоилась? Забыла про горе?—спрашиваю ее какъ можно мягче.

— А? Что?—поднимаетъ она голову, точно просыпаясь.

Понемногу однако Настя отходитъ. Только что пережитыя ею потрясенія сказываются лишь въ необычной для нея разстроганности, размягченности. Ослабѣли, видимо, ея крѣпкіе нервы. Нѣтъ прежней молчиливой, почти суро-вой сдержанности. Мечтательно глядя на свѣчку и о чѣмъ-то словно задумавшись, она начинаетъ:

— Ъду сегодня. Въ душѣ все клокочетъ. Пароходъ, кажется, ползетъ медленно-медленно, такъ бы вотъ и подтолкнула его. «Хоть бы успѣть, хоть бы успѣть»—думаю. Ну, ъдемъ, долго ъдемъ. Той порой стемнѣло. Небо какъ будто опустилось и пригнулось къ землѣ. Лампочки на

пароходѣ еле мерцаютъ, знаешь, какія онѣ тусклыя. Люди въ сумракѣ кажутся безформенными... Тихо кругомъ, только пароходъ мѣрно и гулко бухаетъ. А на западѣ заря догораетъ...

Настя кладетъ голову на поднятые колѣни, которыя она руками пригнула къ подбородку, и говорить тихо, смотря по прежнему вверхъ. Чувствуется, чѣмъ-то теплымъ и нѣжнымъ переполнена ея душа.

— Люблю я вечернее время. Лѣтомъ мы всегда на дачѣ жили, на Волгѣ, въ деревнѣ. Бывало, зайдеть солнышко, коровъ гонять,—далеко слышно мычанье, бубенцы, лай собакъ. Воздухъ особенный, прозрачный,—звонкій... Такимъ особымъ, ни съ чѣмъ не сравнимымъ покоемъ вѣтъ отъ всего этого...

Настя глубоко вздохнула и помолчала.

— Вотъ и сегодня такъ же. Сумракъ, заря, тишина. Мало-по-малу растаяло что-то внутри, и тревога будто прошла, уютно стало на душѣ. Увидала въ море огонеки-форты; одиноко такъ и сурохо торчатъ изъ воды. И такая жалость меня охватила; такъ бы, кажется, на крыльяхъ и полетѣла къ нимъ туда. Тоскливо, навѣрно, у нихъ, одноко, отъ міра отрѣзаны. И все смотрю, смотрю: то замреть огонекъ, то снова покажется, словно жалуется, словно призываетъ...

Отbrasываетъ со лба непослушные волосы:

— Ну, а тутъ, представь, рядомъ со мной у борта артиллеристъ случился, и какъ разъ, какъ онѣ разсказывали, съ одного изъ самыхъ отдаленныхъ и самыхъ сильныхъ фортовъ... Такъ странно: словно судьба!

Раздается условленный стукъ: входить наши. Настя продолжаетъ о своемъ артиллеристѣ:

— А какой онѣ хороший оказался!—говорить она, все больше загораясь:—такой серіозный, умный, вдумчивый! Себя не помню отъ счастья: вѣдь связь съ артиллеристами, съ фортами, сама въ руки дается! Я сказала, что у моей барыни газетъ много, выкидываетъ ихъ. И присталь онѣ ко мнѣ съ этими газетами! Я хотѣла ужъ ему свиданіе въ саду назначить. Ну, а потомъ узнала, какой онѣ партіи, и удержалась.

— Какъ, Настя, вы открылись незнакомому человѣку?

— Нѣтъ, зачѣмъ же!—лукаво улыбается она:—Я сказала ему, что у меня братъ рабочій въ партіи записанъ, запамятовала только, въ какой. Онѣ такъ обрадовался: Соціал-демократъ,—говорить,—вѣрно?—Да, говорю. А онѣ:—Такъ и я тамъ же состою.

— Ай да молодецъ, Настя! Умница! Завтра, значитъ, на свиданье!—хлопаетъ ее по плечу Дмитрій.

— Нѣтъ,—стараясь удержаться отъ довольноой улыбки, отвѣчаетъ Настя:—не пойду. Видите ли, товарищи...

Она останавливается въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ:

— Вѣдь если онъ соціал-демократъ, а мы начнемъ его своими газетами одѣлять, а потомъ книжками, потомъ разскажемъ ему свою программу,—онъ конечно станетъ эсэромъ. И выйдетъ, что мы его отъ нашихъ союзниковъ перетянули. Такъ вѣдь? Я ему сказала, что барыни боюсь, пусть лучше не приходитъ. Какъ вы товарищи, думаете, ладно ли я сдѣлала?

Настя подождала, подождала отвѣта,—и вышла въ кухню. Никита сидѣть и скребеть въ затылкѣ. Потомъ наклоняется къ Дмитрію и шепчетъ:

— Побольше бы намъ такихъ! Сама-то вся какая! Пряменькая-пряменькая, безъ единой закривулинки!

Онъ переводить глаза въ уголь, откуда струится тихій безустанный свѣтъ отъ тоненькой, пряменькой свѣчки.—А мы-то... горло, бывало, драли другъ другу.

— Но, надѣюсь, не теперь?—настороживаюсь я.

— Ну, конечно. А все же... до голубиной чистоты и теперь далеко...

Приходитъ Костя. Долго что-то разсказываетъ, а потомъ начинаетъ спорить на тему о заподноевропейскомъ и русскомъ движеніи. Мы и сами увлекаемся вмѣстѣ въ нимъ. А когда, спохватившись, хотимъ приняться за обсужденіе неотложныхъ дѣлъ,—увы!—изъ второй комнаты уже раздается сладкое похрапываніе Дмитрія.

Никита нерѣшительно идетъ будить его. Долго слышится оттуда его ласковый, уговаривающій голосъ вперемежку съ мычаньемъ, потягиваньемъ и соннымъ кряхтѣньемъ Дмитрія.

— Да вы построже!—кричу я:—что за деликатности!

— Жалости въ васъ нѣту!—бормочеть Дмитрій, появляясь наконецъ въ дверяхъ, такой весь заспанный, взъерошенный, упирающійся:—Съ массовки на свиданья, оттуда на митингъ, потомъ и еще въ десяткахъ мѣстъ перебывалъ... вѣдь человѣкъ же и я!

— Во-первыхъ, вы не человѣкъ, а революціонеръ,—начинаемъ мы читать ему нотацію—и, не выдержавъ, заливаемся смѣхомъ: такъ преуморителенъ весь его видъ. Онъ продолжаетъ капризничать и ворчать, вызывая этимъ все новые взрывы смѣха. Наконецъ и самъ онъ заражается общимъ весельемъ. Силы являются сидѣть до утра.

Подъ утро стукъ. Вѣѣгаѣтъ весь запыхавшійся матросъ. «Чудомъ удалось вырваться!» Схватываетъ литературу и опрометью пускается обратно. Черезъ часъ отплытие съ рейда... Все складывается такъ счастливо.

ГЛАВА XIV.

С в и р ц ы .

Я въ первый разъ направляюсь для передачи книжекъ въ казармы, къ солдатамъ Свирского полка. Это—на Петербургской, недалеко отъ пристани. Впрочемъ, въ самыя казармы итти не приходится. Вызванный мною солдатъ-евреи, Петерсонъ, ведетъ меня въ садикъ рядомъ. Подъ тѣнью березокъ усаживается на траву, свѣжую, густую. Впереди аллейка, кругомъ молодыя деревца, кусты... Птицы, солнце... Заалѣли красныя обложки книжекъ, вынутыхъ изъ платка. Подходитъ еще нѣсколько солдатъ, все пріятели Петерсона. Разбираютъ книги. Глаза ихъ горятъ, кажется, еще пуще солнца.

У нихъ тоже чуть бунтъ не произошелъ на дняхъ. Теперь побѣда вскружила имъ голову. Наперебой разсказываютъ про всѣ маленькия события казарменной жизни, кажущіяся имъ такими радостными, такими важными. Минѣ эти факты кажутся еще болѣе радостными, еще болѣе важными.

Вѣдь это же пѣхота! Пѣхота, которая... И безконечные примѣры разстрѣловъ, усмиреній и дикихъ звѣрствъ, совершаемыхъ пѣхотой, приходятъ на умъ.

Это не матросы, которымъ самъ Господь Богъ опредѣлилъ бунты и возстанія устраивать, которыхъ само море сдѣлало храбрыми и сплотило, научивъ бороться со стихіей, сама специальность съ работой около машинъ и дальними плаваніями революціонизировала. Нѣтъ, это пѣхота, вымуштрованная шагистикой, одураченная пѣхота, снимаетъ съ глазъ повязку и радуется, изумленная:—Ахъ, какъ прекрасенъ міръ! Какъ хорошо почувствовать себя человѣкомъ! Какъ хорошо перестать вѣчно гнуться, только гнуться!

Подходитъ Сорокинъ, усаживается, какъ ни въ чемъ не бывало, будто въ собственный домъ вошелъ.

— Какой вѣтеръ васъ сюда занесъ? Вѣдь пѣхотѣ запрещено общаться съ вами!

— Вѣтеръ? Да... А вы что думаете? Мы, сибиряки, по вѣтру далеко голосъ слышимъ, носомъ чуемъ, чѣмъ гдѣ пахнетъ, куда, значитъ, на подмогу итти... Ну, а чтобы предписаній ихъ драконовскихъ слушаться!..

И онъ и солдаты наперебой разсказываютъ про исконную вражду пѣхоты и флота. До послѣдняго времени всѣ, отъ низовъ до самыхъ верховъ—или, вѣрнѣе, наоборотъ,—были въ нее втянуты. И вдругъ со временеми бунты солдаты и матросы поняли, что врагъ у нихъ общий,—и дружить стали.

— Какъ увидали нашу дружбу господа начальники, схватились за голову: — Шабашь! — закричали. — Крышка намъ теперь!

Всѣ смѣются, всѣмъ весело, всѣ беззаботны. Смѣясь и я. Поднимаю голову и — замираю: къ намъ приближается офицеръ! Еле накрыты книги наброшеннымъ второпяхъ платкомъ. А Сорокинъ, сидящій къ офицеру спиной, продолжаетъ ораторствовать, не внемля моимъ подталкиваниемъ и подмигиваніямъ. Солдаты, завидѣвъ офицера, усѣлись еще плотнѣе, словно приросли къ землѣ.

— Это еще что за сборище? — не крикнулъ, а рявкнулъ офицеръ надъ нашими головами.

Солдаты лѣниво поднимаются, отдавая честь.

— Такъ что барышня знакомая пришедши, бесѣдуемъ. Изящный лакированный носокъ офицерскаго сапога передъ самымъ моимъ носомъ горитъ и искрится на солнцѣ; денщикъ, навѣрно, долго потѣль надъ нимъ, наводя лоскъ. Вотъ носокъ подвигается впередъ... еще немного, — и откинетъ онъ уголъ платка. Мы пропали! И это я по своей непростительной оплошности подвела солдатъ, повѣривъ имъ, что офицеры въ садѣ не находятъ.

Напряженная минута. Поднимаю глаза на офицера. И вдругъ такимъ смѣшнымъ мнѣ кажется это совсѣмъ еще юное, съ нѣсколько вздернутымъ носикомъ, лицо, принявшее столь важный начальническій видъ. Все смѣшнѣе и смѣшнѣе. Я уже трясусь отъ беззвучнаго нервнаго смѣха, и губы дергаются, дергаются.

Офицеръ тоже не выдерживаетъ напускной серіозности, по мальчишески улыбается, машетъ рукою и повертывается къ выходу.

— По добру, по здорову!

— Туда и дорога!

— Такъ-то лучше!

— И чего шляются, гдѣ ихъ не просятъ?

Солдаты снова веселы.

— Чего вы такъ лѣниво ему честь отдавали?

— А у насъ запримѣчено: чѣмъ менѣе передъ ними тянуться, тѣмъ у нихъ форсунъ менѣе.

— Извѣстно, который, къ примѣру, изъ деревни, — боится, знаца, — поясняетъ широколицій, скучающій Сомовъ: — Каждый на емъ ъздитъ, поѣдомъ ъстъ. Я самъ деревенской, прошелъ эту выучку, знаю.

— А вы-таки, товарищи, на будущее время должны быть осторожнѣе. Вѣдь подними онъ платокъ концомъ сапога, — какъ бы нашъ арестъ повредилъ работъ!

— Ну, ну... Да какъ бы онъ это посмѣль!

— Да кто ему позволилъ бы!.. въ вашихъ вещахъ рыться!

— Оно, конечно, только дай имъ поблажку!

Убѣждаю ихъ успокоиться и никогда подобныхъ глупостей даже въ головѣ не имѣть. Теперь такъ важно, чтобы всѣ тихо сидѣли. Боже упаси, коли кто прорвется, — такая каша заварится!

Говорю строго, а въ душѣ у самой и радость и гордость за солдатъ. Еще бы! Пришелъ, помню въ первый разъ этотъ самый Петерсонъ на квартиру къ Марѣ. Мямыить что-то подъ носъ, голова ушла въ плечи, по лицу пятна, сѣсть не хочетъ, а чего хочетъ, — и не поймешь. Помямылилъ, помямылилъ, — ушелъ. Оказывается, въ товарищахъ его еще менѣе храбости оказалось, не осмѣлились даже въ квартиру войти, — и онъ пошелъ убѣждать ихъ, что людоѣдовъ у насъ нѣтъ. Но успѣха не имѣлъ, одинъ вернулся. Мучительный часъ билася я съ нимъ. А онъ все время погибалъ отъ смущенія. Въ слѣдующія встрѣчи былъ уже смѣлѣе. А теперь вотъ, полюбуйтесь!

— Объясните вотъ, пожалуйста, — обращаюсь я къ нему: — я вѣсь, ужъ извините, попросту буду спрашивать: почему въ первый разъ вы такъ робѣли?

— Да какъ же не робѣть-то? — говорить онъ, сначала опять смущенно, но потомъ по немногу разгорячась: — Непривычно. Изъ господъ, думаешь, люди, — образованные! Ну, а къ тебѣ, какъ къ равному, относятся! Ну, повѣрите, самъ не свой дѣлаешься, словно свѣтъ въ глазахъ мѣняется.

Онъ на минуту умолкаетъ, улыбаясь удивительно скрашивающей его, менѣго застѣнчивой, милой улыбкой.

— Видите, жизнь наша тяжелая, поганая, можно сказать. Ну, брань тамъ, битье, грубость. Ну, и вниманія до души никакого. И мы такъ привыкли къ этому. А тутъ вдругъ по человѣчески... ну, добро, ласково... Голову потряешь съ непривычки... слова застрянутъ въ горлѣ, не до разговоровъ... какъ чурбанъ стоишь...

А Сорокинъ смотрѣтъ, смотрѣтъ, да вдругъ какъ вскинется:

— Вотъ, барышня. Вотъ будто бы вы тамъ, образованные, промежъ себя собрались. Да вдругъ бы къ вамъ въ компанію грубый пьянчуга вломился, и непристойность и гадость передъ всѣми бы учинилъ. Сконфузились бы, поди, и словъ бы не нашли. А почему? Да потому что не привыкли къ такому хамству, вотъ почему. Отъ удивленія большого слова отшибаетъ. У насъ тоже отъ непривычки къ хорошему человѣкѣ понятія лишается.

— Ну, у тебя-то, братъ, положимъ, словѣ не отшибеть! — думаю я, глядя на его оживленное лицо.

— Вотъ я еврей, — продолжаетъ между тѣмъ Петерсонъ: — Ну, а какая была жизнь для пархатаго жида...

Голосъ его вдругъ дрогнулъ, онъ завозился, зашарилъ по карманамъ, голова ушла въ согнутыя, сутуловатыя плечи

Наступила неловкая минута молчания. Через забор доносится шум улицы, топот лошадей и громыханье по скверной мостовой извозчиков пролетокъ.

— Съ парохода, видно.

— Отчего это, братцы,—продвинулся впередъ Сорокинъ,—отчего нашему брату, мужику, совсѣмъ, то-есть, все равно, какого званія человѣкъ. Жидъ ты,—потянулся онъ Петерсона за рукавъ:—а мнѣ самый другъ и товарищъ, потому какъ приверженность къ дѣлу имѣешь и такую горячность, которую мы, матросы, больше всего уважаемъ.

— Это вѣрно, товарищи,—возвращается къ прежней темѣ Сомовъ:—Прошибаетъ очинно даже, когда съ этой самой антиллигъенціей познакомишься. Изъ деревни я—къ примѣру. Лѣса у насъ во—какіе! Городъ далеко. Кто у насъ баринъ? Земской да лѣсничой. Завсегда на насъ кричатъ, ногами топаютъ. А тутъ вдругъ—то-ва-рищъ!

Его широкое лицо расплывается отъ удовольствія.

— И за руку берутъ, смотрятъ ласково,—ошалѣшь. А потомъ ужъ только въ разумъ войдешь. Тутъ душа и вознесется.

Черезъ нѣсколько дней забѣгаешь къ намъ тотъ же Петерсонъ и, захлебываясь, разсказываетъ:

— Ночью на сегодня у насъ будто праздникъ вышелъ, право! Улегшись всѣ мы были по койкамъ. Ну, а писарь и прибѣги, писарь, значитъ. «Усмирять, кричить, отказались!»—«Что такое? Кто отказался, господинъ писарь? Вы намъ разъясните!» И что бы вы думали? Намъ и невдомекъ, можно сказать! Ну, а вѣдь это наши! Наши, что остались въ Новгородской губерніи, нашъ 2-й баталіонъ сопротивленіе начальству оказалъ, не пошелъ крестьянъ усмирять.

Ну, что же? Извѣстно—кричать! Уру подняли! Бѣжитъ, конечно, господинъ фельдфебель,—онъ у насъ грузный,—лицо налилось кровью, глаза выпѣзли, какъ у рака. «Что? Что, кричать, такое? Зачѣмъ такой кричать, гвалть?» А наши, конечно, въ смѣхъ. Потому, значитъ, какъ разувался, ну, въ испугъ впалъ, рука въ сапогѣ, а нога голая! Струсила, значитъ. «Вояка! Хватъ! Ай вай!»—стали тутъ ему кричать. Ушелъ не въ себѣ. А у насъ почитай до утра разговоры всякие. Ну, и что это за разговоры!..

У рассказчика ходятъ руки и ноги, смѣются глаза, и весь онъ все время ёрзаетъ на мѣстѣ. Заморенное, тщедушное лицо зардѣлось румянцемъ.

Всѣ выражаютъ шумное одобреніе. Возбужденный вниманіемъ и успѣхомъ, онъ разсказываетъ о своемъ баталіонѣ.

— А кстати, вамъ офицеръ выговора не сдѣлалъ? Помните, за то, въ саду?

— Нѣтъ, ну... а только...

— Что?

— Въ другой разъ вы были, у воротъ стояли, ну, и шель офицеръ, и васъ, ну, и запримѣтилъ.

— Что же, говорилъ что-нибудь?

— Ну, я себѣ иду, и ротный себѣ идетъ. Идетъ себѣ, и смотритъ эдакъ, будто что примѣчаетъ. Ну, я, конечно, самъ по себѣ, будто и виду не подаю. Однако подзываетъ: «Ты, говорить, Абрамъ, ну, ты... ты что, тоже себѣ... хайку завель?»—точно давясь, съ трудомъ выговариваетъ онъ послѣднюю фразу.

— Что же дальше?

— Ну, я, конечно, хотѣлъ сказать, что никакъ нѣтъ, ваше Благородие!

Онъ потупился и, видимо, набирается духу для дальнѣйшаго разсказа. Всѣ съ интересомъ смотрятъ на него.

— Ну, подумалъ я тутъ, что разспросы да допросы пойдутъ про васъ... «Точно такъ, говорю, ваше Благородие, завель!»

Онъ такъ браво, такъ молодцевато выпаливаетъ послѣднія слова, что всѣ вздрогиваютъ. Рѣшимость отчаянія чувствуется въ этой бравурѣ и величайшее нервное напряженіе. Но сказавъ, онъ вдругъ весь какъ-то осѣдаетъ, точно выпустилъ послѣдній зарядъ. Поникъ головою, тяжело вздохнулъ.

— А потомъ я подумалъ,—волнуясь продолжаетъ онъ:—я подумалъ и говорю: Ваше Благородие! Ну, а теперь, говорю, мнѣ можно въ городъ отлучаться?

— Ну, и мозговатый же ты, братъ! Башка!

— Прямо съ японцемъ воевать! —сыплются одобрительные возгласы.

— Ну, и какъ? Выгорѣло дѣло?

— Да,—сказалъ ротный,—можно. Я, говорить, тебя, Петерсонъ, въ чёмъ другомъ подозрѣвалъ. А ты, вижу, за умъ берешься. Одобряю, говорить.

Видя кругомъ одобрѣніе, Петерсонъ улыбается. Но вдругъ онъ снова смутился, замолчалъ, поднялъ вверхъ виноватые глаза и испуганно говоритъ, почти шепчетъ:

— Вы серчаете... Или, можетъ, вы думаете... того... ну, что я по трусости? Ей Богу, нѣтъ. Я же...

Отъ смущенія у него даже слезы выступили.

— Я чтобы васъ свободнѣе пропускали, потому ежели не хайка, кто же вы? У насъ больше все хайки, то-есть полюбовницы, ходятъ. Значить кто же? — спросятъ. А опросъ бы... — бормочетъ онъ.

— Да успокойтесь, не про васъ я! На счетъ офицера вотъ: чѣму научаетъ!

Вспоминаю попавшій недавно въ печать тайный документъ изъ одного питерскаго кадетскаго корпуса, съ подробнымъ распорядкомъ пользованія домами терпимости. Сами воспитатели партіями водили мальчиковъ въ эти дома, устанавливали очередь, назначали плату... Вспоминаю, какъ одинъ солдатъ увѣрялъ меня съ горечью, что онъ не знаетъ никого въ батальонѣ, кто бы не пьянствовалъ и не развратничалъ...

Развратъ и военщина улеглись въ жизни рядомъ, крѣпко сплелись корнями.

Еще черезъ нѣсколько дней сидимъ мы разъ поздно вечеромъ, — вдругъ Настя подымаетъ голову:

— Кто-то за дверью шевелится, ясно слышу.

Открываемъ дверь, — Петерсонъ и Сомовъ стоятъ въ стѣняхъ, взволнованные, запыхавшіеся.

— Постучать не смѣли, думали — спите. Да и не видно, скобу искали, — словно оправдываются они.

— Уводятъ, потому обезпокоили. Не обезсудьте.

— Проститься хотѣли. Потому какъ же такъ вдругъ уѣхать? Можетъ больше не доведется даже...

Вташили ихъ въ комнату, поимъ чаемъ. Дмитрій сразу вливъ покой и умиротвореніе въ ихъ взволнованныя сердца.

— Что вы, братцы, пріуныли? Сами же признаете, что въ Кронштадтѣ свѣтъ увидали. Ну, вотъ, теперь сами его зажжете въ другомъ мѣстѣ. А мы вашихъ замѣстителей просвѣтимъ. Такъ и пойдетъ свѣтъ отъ свѣта все больше и больше. Видите, какое доброе наше правительство: повсюду старается головни разбросать. Выпьемъ, братцы, за то, чтобы ни одного уголка безъ головни не осталось!

Чокнулись чашками съ чаемъ, повеселѣли, заулыбались.

— Кабы не хватились! — насторожился Сомовъ.

— Э, пусты! Одинъ отвѣтъ!

— Ну, ладно, еще посидимъ.

Сидимъ за чайкомъ интимнымъ дружескимъ кружкомъ. Солдаты растроганы, умилены. Но Сомовъ, какъ всегда, сдержанъ, или стѣсняется, говоритъ мало, — больше смотритъ и слушаетъ.

— Вамъ тоже не хочется уходить?

— Дюже не хотца. Не токмо что, а даже... то-исстѣ, нашему брату, коли тово... даже можно сказать...

Мы съ Настей терпѣливо ждемъ, когда онъ подыщетъ для своихъ мыслей нужные слова.

И вдругъ этотъ деревенскій парень, съ широкимъ, блинообразнымъ лицомъ и маленькими, калмыцкими глазами,

камъ, неожиданно заговорилъ о чѣмъ-то такомъ, что прямо пригвоздило насъ съ Настей къ мѣсту. Видно, долго собирался онъ съ духомъ, долго боролся съ собой, и вотъ наконецъ поборолъ смущеніе, и выкладывается то, что просится изъ души.

— Я къ вамъ, такъ сказать... такъ ужъ, какъ думаю... разрѣшите мои тяжкія сомнѣнія знаца... — начинаетъ онъ, запинаясь на каждомъ словѣ. — Вотъ, къ примѣру, видишь, какъ вы живете. Хорошо у васъ тутъ, благообразіе, ровно въ церкви! — онъ поднялъ голову въ уголъ, къ иконѣ, гдѣ Настя сегодня опять затеплила свою тоненькую восковую свѣчку. — Обращеніе ваше тоже... Или вотъ ораторовъ взять. Говорятъ такъ, что думаешь: кто вы? аль святые? безъ грѣха? Такъ вотъ свято и живете? Или какъ и мы знаца всѣ? по грѣховному?.. Знаца, не ладно оказывается: на словахъ хорошо, а на дѣлѣ и безъ святости? Знаца, обманъ?

Онъ ужасно волнуется и путается лицо его полно такой глубокой муки, — и отъ этихъ истомившихъ его душу мыслей, и отъ неумѣнья ясно выразить ихъ, и отъ смущенія, что задалъ намъ такіе нескромные вопросы.

Для насъ эта его выстраданная откровенность такъ внезапна, такъ непривычна, что мы сидимъ не шелохнувшись, съ замиранiemъ сердца ожидая конца рѣчи, послѣ которой мы обязаны будемъ «разрѣшить ему его тяжкія сомнѣнія».

— Такъ повернешь, — обманъ получается. По инакому, на иную, знаца, сторону, — что-то бытто не слыхать о святыхъ, бытто прошли тѣ времена... Знаца, опять святые объявились? Чудо, знаца?.. Вы ужъ извините, можетъ что и не ладно сказалъ по своей необразованности!

Онъ и не подозрѣваетъ, навѣрно, до какой степени значительнымъ, глубокимъ и труднымъ для отвѣта является заданный имъ вопросъ. Вѣдь это самый верховный судья надъ людскими жизнями и душами заглянулъ въ нашу совѣсть этими узенькими калмыцкими глазками, — и щупаетъ, пытаетъ, экзаменуетъ ее.

До ушей доносится разговоръ Дмитрія съ Петерсономъ, крикъ помуночныхъ пѣтуховъ, лай собакъ, всѣ неуловимые ночные звуки и шорохи. Нашъ уголъ молчитъ. Настя отъ времени до времени взглядываетъ на свою свѣчечку. Что-то новое появилось въ ея глазахъ. Она выпрямилась, вытянулась, подняла голову, и кажется еще тоньше, еще прозрачнѣе. Солдатъ нервно мнѣтъ фуражку и сидитъ потупившись.

Съ трудомъ собравъ мысли, я наконецъ говорю ему, что нѣть въ насъ обмана, но нѣть и святости. Мы только

прозрѣли раньше народа, теперь раскрываемъ глаза и другимъ. И мы оступаемся, и еще какъ!— мы не скрываемъ своихъ ошибокъ, но мы искренно стремимся подойти къ правдѣ все ближе и ближе.

ГЛАВА XV.

ВЫХОДЪ ВЪ СВѢТЪ.

Наши представители єдутъ въ Петербургъ на совмѣстное собраніе съ представителями другихъ организаций. Дмитрій и я съ ними. Пароходъ переполненъ. Толкотня невообразимая. Наблюдаю нашихъ. Всѣ одѣты по праздничному, на лицахъ восторгъ.

Вотъ одинъ сидитъ, словно пригвоздили его, уперся руками въ лавку и блаженно улыбается. Видно, что новичекъ, воображаетъ, навѣрно, ни-вѣсть что; ухмыляется своимъ мысламъ, не видя ничего кругомъ; подтолкнетъ порой товарища, перекинется съ нимъ коротенькой фразой и опять замретъ. Другой ерзаетъ въ нетерпѣливомъ ожиданіи. Кто вступаетъ въ разговоръ съ сосѣдями мужиками. Кто уставился на море, опершись подбородкомъ о барьеръ и мурлыча что-то про себя.

Глѣбко нахмурился, прямо насупился весь:

— Ровно бы не время заниматься этакими глупостями!— говоритъ онъ, мѣряя глазами подвыпившую компанію матросовъ.

— А ты кто? Князь что ли? Думаешь-квартирмайстеръ, такъ и указывать всѣмъ должонъ?

— А вотъ и должонъ! Званіе матроса ты можешь блюсти? Для чего мы призваны? Вспомни осень! Понялъ?

Сорокинъ, какъ всегда, не сидитъ на мѣстѣ. То тутъ, то тамъ мелькаетъ въ толпѣ его развеселая физіономія. Вонъ занялся съ толстенькой дѣвочкой-коротышкой. Подзоветъ ее, дастъ конфетку, а потомъ будто догоняетъ ее. Дѣвочка съ громкимъ смѣхомъ бросается въ колѣни къ матери, брыкаетъ ногами, прячетъ лицо, и смѣется-смѣется. А онъ ужъ снова ее манитъ, дѣвочка снова около него, подскакиваетъ, чтобы поймать орѣхъ. И не знаешь, кто больше тѣшится, ребенокъ ли, Сорокинъ ли, или другіе матросы, которые уже обступили ихъ и уже сами втянулись въ игру. Ротъ у дѣвочки весь вымазанъ сластями. Посаженная къ одному матросу на широкое плечо, она что-то лепечетъ оттуда сверху. Цѣлый рядъ широкихъ оскаленныхъ ртовъ, цѣлый рядъ сощуренныхъ отъ смѣха глазъ.

А гдѣ же Сорокинъ? Уже въ другомъ концѣ парохода стоитъ надъ картежниками.

— У тебя сколько?— спрашиваетъ одинъ партнѣръ.

— Три.

— Три да три, до дыръ не пропри! съ какой ты пошелъ-то! Балда! Замазка! — всовываетъ и сюда свой носъ Сорокинъ. Партнѣръ въ рваномъ зипунѣ недовѣрчиво оглядываетъ хохочущую публику.

— Пять! — кричитъ онъ, стукая по столу.

— Не пять, стѣна близко, хвостъ обломаешь!

— Гдѣ она, стѣна на пароходѣ?

— Есть и стѣна, да не проста, и быть тебѣ безъ хвоста!

— За своимъ смотри!

— Погожу маненько, когда вырастетъ!

Кряхтитъ пароходъ, бухаетъ и чавкаетъ машина, шумятъ вокругъ волны. Говоръ, шутки, смѣхъ.

А въ углу хмурые люди. Ни празднікъ, ни веселое солнце не могутъ распрямить ихъ морщинъ, прояснить ихъ лица. Какъ тяжелый возъ по ухабамъ, тянутся ихъ разговоры. Это—безработные.

— Въ Питерѣ—ничего. Въ Кронштадтѣ посылали— полнымъ все полно. Куда таперя податься?

— Одинъ конецъ—ложись и подыхай.

— Три дня подъ голымъ небомъ. Сегодня хочь солнышко подсушило, и то радость, а то въ грязи валяйся!

— Хуже скота... У того хочь подстилка... и крыша надъ головой...

— И жратва тоже...

— Въ Питерѣ сказывали: пятьдесятъ тысячъ маются. Городская Дума, баютъ, работу обѣщалась охлопотать...

— Охлопочутъ!

— О, Господи, будетъ ли лучшина-то! Остатнее времяко пришло!

Дыхнуть, дышать, подыхать!—только и слышится въ этомъ углу.

— Въ Либаву, говорять, требовались...

— Говорятъ,—куръ доятъ, а пошли—вымя не нашли. Туды изъ Обуховского посланы.

— Да рази не слыхали вы, братцы, дѣло-то тамъ какое получилось?— вскидывается вдругъ какой-то маленький заморенный человѣчекъ.— Прѣѣхали этто, значитъ питерскіе рабочіе туды, съ Обуховскаго, значитъ. А матросы, флотскіе, значитъ, къ нимъ съ кулаками:— По какому такому, говорятъ слушаю вы здѣсь? Рабочій, говорятъ, человѣкъ долженъ другому рабочему помочь оказывать, а вы что? Съ живого мѣста єдете, а здѣшніе съ голодухи мрутъ!— Мы, говорятъ, тоже не виноваты, нась министрація завод-

ская прислала.—Ну, тѣ не стали однако съ ними долго разговаривать.—Изобьемъ, говоритъ, въ море спустимъ, а здѣсь вамъ не работать. Очень даже просто!

— Ну?

— Извѣстно, очень просто даже, что уѣхамши! Вотъ, значитъ,—какъ дѣло-то было!

— Что и говорить! Правильно!

— Фартовый народъ эта матросня!

Вдругъ, откуда ни возьмитесь, балалаечникъ. Настраиваетъ свой инструментъ и начинаетъ подъ его аккомпанементъ заунывнымъ сиплымъ голосомъ любимую матросскую пѣсню:

Вернулся калѣка изъ плѣна домой.
Мать старуха его повстрѣчала.

Всѣ кругомъ смолкли, слушаютъ. Защемило сердце тоскою... А тотъ вдругъ какъ ударить по струнамъ всей пятерней, да какъ тряхнетъ шапкой кудрей надъ испитымъ прыщеватымъ лицомъ, да какъ грянеть разухабистую, съ переборами да припѣvkами, съ присказками да прибаутками!

Вотъ купцы у насъ, гляди-тка,
На счетъ совѣсти, поди-тка,—
Мало гра-а-мотны, да мало гра-а-амотны!
А стянуть, содрать съ насъ втрое,
Дать за новое гнилое —
Больно гра-а-мотны, да больно гра-а-амотны!

Публика, вначалѣ было оцѣпенѣвшая отъ этой неожиданной перемѣны, грохнула дружнымъ взрывомъ хохота.

— Ну и чешетъ! Валяй, братъ, валяй! Такъ ихъ такихъ-сякихъ!

Но пѣвецъ не нуждается въ поощреніи. Все чаще, все гуще сыплетъ онъ остроумными, ядовитыми куплетами, прохватывая то баръ, то купцовъ, то разгульныхъ молодцовъ, то пузатыхъ приставовъ. Все задорнѣе его подмывающій, разудалый речатативъ, все отчаяннѣе бренчить и лихо заливается балалайка. Нѣкоторыя цензурные вольности производятъ особенный фуроръ у публики. Такой хохотъ стоитъ на пароходѣ, что порой тонетъ въ немъ сама пѣсня.

Весело летять въ шапку балагура мелкія монеты. Всѣхъ разшевелилъ. У всѣхъ развязался языкъ, всѣ сыплютъ шутками, остротами, анекдотами. Встрѣчаюсь глазами съ нашими. Ихъ лица сіяютъ. Да и я чувствую, какъ подхватываетъ меня волна общаго радостнаго возбужденія. Такъ хорошо на этомъ морскомъ просторѣ, подъ этими ласковыми лучами смиющагося солнца, среди этихъ пѣсенъ, среди всей этой развеселившейся, какъ ребенокъ, толпы!

Какъ птица, взмахнуть бы сейчасъ крыльями, взвиться въ поднебесную высь и полетѣть прямо, все прямо, къ яркому солнцу! Простора, движенія душа требуетъ: развернуться бы!

А черезъ минуту я — ужъ черносотенница, и жарко спорю съ сознательнымъ рабочимъ. Вся корма настъ слушаетъ. Боже! Сколько негодующихъ глазъ, и злыхъ, и насмѣшилыхъ, устремлено на меня! Сколько возгласовъ, сколько нелестныхъ эпитетовъ сыплятся на мою черносотенную голову!

Вдругъ среди этихъ враждебныхъ физіономій метнулась чья-то знакомая, съ веселыми, задорными искорками въ глазахъ. Конечно, Сорокинъ! Пробирается прямо ко мнѣ.

А ну-ка, мать пречестная, черно-рукоположенная! Что ты вотъ на это скажешь?

При видѣ неподражаемой игры его физіономіи, при видѣ его хитро сощуренныхъ глазъ, мои губы неудержимо раздвигаются въ улыбку, дѣлаю невѣроятное усилие, чтобы сохранить прежнее, озлобленное выраженіе.

Э, пиши, размазывай! Лучше окстись да побывай-ка у батюшки! Авось, дурь-то изъ головы повыпотрошится! — говорю, скорѣй отходя къ борту, провожаемая дружнымъ взрывомъ смѣха.

Смотрю на ласковое сѣро-зеленое шелковистое море. И море улыбается, и все вокругъ дрожитъ и рдѣетъ отъ нетерпѣливаго бурлящаго счастья. И нѣтъ никакихъ силъ не расплываются въ широкой безпричинной улыбкѣ.

— Чтой-то, служивый, съ усмирѣнія, видно? — кидаю я обладателя блестящей медали на груди.

— Съ усмирѣнія? — негодуетъ онъ: — Эхъ ты, и баба же, какъ я ногляжу!

— А то что, мужикъ чтоли? Вижу, что медаль, — ну и спрашиваю.

— За войну это. Боевыя отличія!
Его обступаютъ съ разспросами.

— Было дѣло подъ Полтавой, да было! Суръезный японецъ, угостили въ самый разъ. Вродѣ какъ на свѣтѣ преставленіи побывали. Взять нашъ полкъ, Каспійскій: настъ, охотниковъ, было двѣ сотни съ половиною, а кончилась война, — чуть насчитали десятка четыре!

Ахаетъ публика, а тотъ ко мнѣ поворачивается:

— Поняла теперь, на какомъ я усмирѣніи былъ?
Онъ, видимо, задѣтъ за живое. Смотрѣть на слушателей глубокимъ взглядомъ, идущимъ изнутри словно съ невидимой высоты, хмурый, прямой.

— А куда вы ѿдете, дозвольте полюбопытствовать?

— Сейчасъ въ Питеръ, а воопче въ Кронштадтъ переводимся.

— Вы? Въ Кронштадтъ?

— А что дивуешься? Въ самый энтотъ Кронштадтъ! — неодобрительно и строго бросаетъ онъ.

Такъ вотъ они, замѣстители свирцевъ!

Пароходъ подходитъ къ пристани. Публика бросается къ выходу. Бросаюсь и я. Розыскавъ моего оппонента, я съ большимъ смущеніемъ разъясняю ему, что я вовсе не черносотенная баба, а партійный человѣкъ, и споръ затѣяла, чтобы узнать, какой онъ партіи, и, убѣдившись, что нашей, хочу не порывать съ нимъ знакомства.

У насъ въ Кронштадтѣ вѣдь совсѣмъ нѣтъ своихъ рабочихъ. Это насъ очень мучаетъ.

Рабочій таращитъ на меня глаза, словно въ землю врось и языка лишился. И чѣмъ больше я стараюсь доказать, что я дѣйствительно революціонерка, тѣмъ онъ все больше пугается и блѣднѣеть.

— Я не спрашиваю ни вашей фамиліи ни адреса. Вы скажите только изъ какого вы района, я васъ разыщу черезъ питерскій комитетъ нашей партіи. Я увѣрена, что вы — эсэръ.

— Да, эсэръ; изъ-за Невской, — бормочетъ онъ, продолжая пятиться отъ меня.

Поскорѣе отхожу отъ него, проклиная себя за неумную выходку.

Курсы Лесгафта. На лѣстницѣ наши распорядители. Внизу, при входѣ, товарищъ Нина, — энергичной инициативѣ которой петербургская военная организація обязана своимъ возрожденіемъ. Обычно одѣтая во все черное, сегодня она въ бѣлой кофточкѣ. И здѣсь чувствуется праздникъ. Зеленая вѣтка, какъ условный знакъ въ рукахъ нашихъ, чтобы узнавать другъ друга въ чуждой толпѣ, наполняющей курсы, еще болѣе придаютъ всему весеннее настроеніе.

Замелькали знакомыя лица. Наши кронштадтцы успѣли уже зайти въ указанныя имъ квартиры рабочихъ и тамъ переодѣться. Странно видѣть ихъ въ штатскомъ пальто, въ блузахъ съ застегнутыми воротами. Они, вспотѣвшіе, взволнованные, рады, что до своего человѣка добрались.

— Что долго не приходили?

— Улицу долго искали, не знакомѣ!

— А у насъ, Терентьевна, несчастье! Перепутали адреса: въ одно мѣсто никого не пришло, а въ другое четверо заявились. Хозянинъ ушелъ, а хозяйка какая-то безтолковая: «Окромя того, говорить, что приказано, не могу вамъ болѣе предоставить». Покрутились, покрутились наши, — такъ и ушли.

— Сюда прямо шли бы. Двоє ничего, если и въ формѣ.

— Да ужъ уѣхали.

По двое, по троє приходятъ. Вотъ Глѣбко, большой, мускулистый, а брюки чуть не по колѣно, и руки изъ рубашки вылѣзаютъ. Чуть повернется, трещать швы, того и гляди, все разѣдется. Сухопарый Журавлевъ ликуетъ:

— По мнѣ все хорошо, все въ пору.

Кто-то напѣваетъ:

И пошелъ нашъ журавель,
Журавель да журавель,
По воду, по воду,
По воду къ колодцу!

Куда тамъ въ пору! Висить пальто какъ на вѣшалкѣ. Ужъ и впрямь журавель — со своей длинной шеей, вылѣзающей изъ за широкаго, оттянувшагося книзу воротника пальто.

Со смѣхомъ стягиваютъ съ него пальто, приговаривая:

Пошипали журавля,
Журавля, журавля!

Надѣваютъ его на богатырскія плечи Глѣбки:

Одѣвали медвѣдя,
Медвѣдя, медвѣдя!

Возня. Сутолока.

Размѣстились въ аудиторіи. Заперли дверь на ключъ. Пересчитали: отъ Кронштадта тридцать человѣкъ, отъ Петербурга десять. Нина хмурится. Въ Питерѣ дѣла совсѣмъ еще не блестяющіе.

Доклады съ мѣстъ. Тамара Принцъ, изящная, хотя и некрасивая дѣвушка, аристократка, въ простомъ платьѣ и платочкѣ, говоритъ про свой районъ — лагерь подъ Краснымъ Селомъ.

— Почти полностью восемь гвардейскихъ полковъ, двѣ артиллерійскихъ бригады, и кругомъ еще войска въ лагерѣ. А я... одна на всю массу!

Около двадцати тысячи — мысленно высчитываю я. — Тамъ почти нѣтъ сознательныхъ, на кого можно бы опереться. Еле тронутая почва. Въ душѣ у всѣхъ волненіе, а въ головѣ сумбуръ и неразбериха. Нужно успокоить души, прояснить головы. Со всѣхъ сторонъ масса запросявъ, а я — одна, одна и одна...

Вторя ей, несутся новыя просьбы, новыя жалобы: людей, литературы, денегъ...

Поднимается солдат изъ Колпина. Волнуется, не знаетъ, куда руки дѣвать. Начинаетъ немнога повышеннымъ голосомъ:

— Знаемъ мы, что къ чему. Съ Дальняго вернулись. Готовимся, съ народомъ вмѣстѣ чтобы, къ моменту...

Понемногу успокаивается, говорить болѣе ровно и гладко:

— Мы понимаемъ свою силу, а она, товарищи, не малая. У насъ въ рукахъ пороховой складъ. Тамъ пироксилинъ, тамъ порохъ, однихъ ручныхъ гранатъ двадцать тысячъ...

— Что это такое?

— Это одинъ офицеръ изобрѣлъ, чтобы съ шомполомъ изъ ружья можно было ими стрѣлять, маленька совсѣмъ. Дѣлали мы имъ испытаніе,— хорошо, черти, рвутся. Ну, а только война и кончиться успѣла, такъ гранаты и не пошли въ дѣло. Видно, ужъ сама судьба хочетъ, чтобы революціи послужили... Ну, еще три тысячи винтовокъ, нѣсколько пулеметовъ, восьмеро орудіевъ, къ нимъ боевые припасы...

Онъ перечисляетъ все, не сбиваясь, видно обстоятельно все было выяснено.

Работающій среди колпинскихъ саперовъ интеллигентъ Волгинъ съ гордостью смотрѣтъ на своего питомца. Замѣтивъ не то удивленіе, не то недовѣріе среди присутствующихъ, онъ вмѣшиваются въ разговоръ:

— Я, знаете, товарищи, ежедневно у нихъ бываю, и всегда, когда прохожу мимо склада, часовые честь отдаютъ и спрашиваютъ: «Ну, а теперь уже скоро? Недолго намъ еще маяться? Мы хоть сейчасъ готовы».

— Да, у насъ всѣ согласны, подлыхъ нѣту. Однимъ словомъ, на войнѣ побывали, понятно.

Саперъ вдругъ улыбается и заявляетъ съ довѣрчивой интимностью:

— Кто-то по начальству донесъ, что мы у себя лагери минировали. Вѣдь повѣрили офицеры!

Онъ шмыгнулъ носомъ:

— А намъ что жъ? Намъ только польза отъ этого. Нарочно не отрекаемся. Держимъ ихъ сейчасъ въ страхѣ.

Всѣмъ нравится хитрость саперовъ. — Ага! Трясутся поджилки у ихъ благородій! — ликуетъ Сорокинъ.

Оглядываю аудиторію. Если бы профессора встрѣчали на своихъ лекціяхъ такую пожирающую жадность вниманія, такие горящіе глаза!

Стукъ въ дверь. Два солдата появляются на порогѣ. Одинъ, съ винтовкой, такъ и остается у входа и замираетъ, какъ вкопанный: штыкъ ходуномъ ходить въ его рукахъ. Другой спѣшно пробирается впередъ, кидая дорогой:

— Вы простите, товарищи, опоздалъ малость, дыкъ не взыщите.

Его рука тянется ко лбу, чтобы сдѣлать подъ козырекъ. Спохватившись, онъ отдергиваетъ ее книзу, смущается и быстро бормочетъ:

— По доносу... сволочь шкура предаль... арестовали меня... А тутъ время подходить на собраніе идти... Никакъ, думаю, не возможно пропустить... Ладно, что вотъ конвойный сговорился... А только со шкурой мы еще раздѣляемся, даромъ не спустимъ! — заключаетъ онъ угрожающе.

Публика шумно привѣтствуетъ обоихъ, тюремщику жмутъ руки. Окончательно сконфузившись, онъ не знаетъ куда глядѣть, что дѣлать съ руками, съ винтовкой. Его усаживаютъ на скамейку, хотятъ убрать ружье въ уголь. Онъ умоляюще шепчетъ:

— Пожалуйста, братцы, кабы не того... дозвольте не выпускать... боязно...

Продолжаются доклады, а глаза всѣхъ невольно устремляются на блестящій штыкъ, что торчитъ поверхъ головъ, то безцѣльно дергаясь въ воздухѣ, то неподвижно замирая въ крѣпко обхватившихъ его рукахъ деревенского парня съ широко раскрытыми, испуганными глазами.

Перерывъ. Нарушенъ порядокъ. Смѣшались голоса.

Въ одномъ мѣстѣ говорятъ про Петропавловку. Начальство издаетъ строжайшій приказъ не пропускать въ крѣпость ни одного вольнаго,— а между тѣмъ нашъ организаторъ ежедневно проходитъ туда свободно, собираетъ всѣхъ солдатъ въ кучу и толкуетъ въ открытую. Въ другомъ мѣстѣ уланъ изъ Петергофа съ горечью разсказываетъ про извѣстного усмирителя, графа Орлова, ихъ начальника, какъ онъ развращалъ уланъ въ Прибалтійскомъ краѣ, давая имъ издѣваться вволю надъ латышами, какъ и теперь онъ поощряетъ солдатъ ко всяkimъ циническимъ вольностямъ. Наши приглашаютъ улана съ товарищами въ гости, на наши дѣла посмотрѣть. Матросы обоихъ гарнизоновъ столковываются между собою. Товарищъ Нина заговориваетъ съ конвойнымъ. Тотъ быстро вытягивается передъ ней, зацѣпляетъ штыкомъ за сосѣднюю лавку, съ грохотомъ роняетъ ружье; пунцовъ отъ стыда, неуклюже возится съ нимъ. Нина улыбается, и, махнувъ рукою, отходитъ отъ него.

Снова воцаряется тишина. Докладъ кронштадтцевъ производитъ впечатлѣніе. Всѣ признаютъ, что сила — не Колпино и не Петропавловская крѣпость со старыми, никуда не годными пушками, а Кронштадтъ. Онъ и долженъ, начать первымъ, а другія части только поддержать его.

Говорится затѣмъ о Думѣ, о положеніи страны, о близящейся развязкѣ. Правительство не уступаетъ, возстаніе

неизбѣжно. Солдаты должны будуть встать активно на ту или другую сторону. А на нетерпѣливые голоса: «Да когда же будетъ это возстаніе?» — дается одинъ отвѣтъ:— Покуда ждать! Ждать и готовиться.

Суетня при прощаніи. Расправляются затекшія отъ непривычки къ долгому неподвижному сидѣнію за скамьями ноги и руки. Потягиваются наши, отираютъ потъ, разсматриваютъ картограммы на стѣнахъ.

Часть кронштадтцевъ торопится на пароходъ. Остальные, у кого есть отпускные билеты, идутъ въ соседнюю аудиторію слушать одного изъ нашихъ лучшихъ оратровъ. А мы, работники, толпимся въ коридорѣ, дѣлимся впечатлѣніями. Это было первое совмѣстное собраніе представителей различныхъ гарнизоновъ.

Курсистка, съ строгимъ профилемъ и прекрасными живыми глазами, горячо доказываетъ пользу такихъ собраний передъ пухленѣкимъ розовенькимъ студентикомъ, который подскакиваетъ и горячится, какъ молодой пѣтушокъ.

— У солдатъ горизонтъ расширяется! Привыкаютъ чувствовать себя хозяевами революціи! А вы:— Слабость организаціи увидятъ. Пусть! Пусть все знаютъ! Не на обманѣ же строить революцію!

Горячая, изъ глубины души идущая убѣжденность, удивительно музыкальный тембръ голоса и строгая красота кавказскаго лица, — все производитъ обаятельное впечатлѣніе, собирая вокругъ нея толпу.

— Браво, браво! Ну, Петръ, слабо! По всѣмъ пунктамъ срѣзался!

Подходитъ Дмитрій.

— Наши-то! А? — подмигиваетъ онъ.

Больше онъ ничего не говоритъ, и безъ того понимаютъ его. Здѣсь впервые сила Кронштадта почувствовалась нами вдругъ такъ рельефно, и не только съ разрушительной стороны, заставлявшей съ тревогой сжиматься сердце: «Ахъ, какъ бы не провалилось!» — но и со стороны положительной, сулящей побѣду впереди. И сильно въ самой глубинѣ гдѣ-то дрогнуло сердце.

Ужъ вечеръ. Мы, кронштадтцы, идемъ, разбившись парами, тройками, на окраину города. Сегодня все необычно, особенно для нихъ, военныхъ, въ вольной одеждѣ, въ чужомъ городѣ, итти цѣлой companiей, не опасаясь непріятной встрѣчи съ начальствомъ.

Потянулись дачки, тихія мѣста, лишенныя даже постылыхъ дворниковъ за воротами. Хочется смѣяться, болтать, какая-то дѣтская, беспечная радость обуреваетъ всѣхъ. Сорокинъ превращается въ сорванца - мальчишку лѣтъ тринадцати. Даже суровый Глѣбко, нѣтъ - нѣтъ, да и улыбнется. А ужъ про Эсэрушу и говорить нечего: что-то вихревое окончательно закрутило и завертѣло его.

Замедляемъ шагъ. Дмитрій идетъ впередъ на развѣдки. Возвращается, ведеть къ своимъ знакомымъ. Нужно соблюдать тишину, чтобы не разбудить жильцовъ дома. Это оказывается труднымъ до невѣроятности. Слышно, — какъ пыжатся и пытятся наши отъ душащаго ихъ смѣха, какъ одни останавливаютъ другихъ и, не выдержавъ, сами начинаютъ прыскать.

Появляется чай. Всѣ усаживаемся на коврѣ, по-турецки, братскимъ кружкомъ.

Тихо дремлетъ внизу садъ, обвѣянный сладкимъ ароматомъ. Бѣлая ночь обняла землю, припала къ ней, ласковая и баюкающая, завораживающая и манящая. Щемить что-то въ груди, зоветъ къ тайнѣ, къ радостной тайнѣ бытія. И курится земля благовоніями, преисполненная трепетнаго ожиданія.

И полны этой истомой души собравшихся. Бурлить ихъ молодая кровь, и ужъ близкой кажется имъ заповѣдная чаша. И неудержимо тянетъ прикоснуться къ ней, припасть пересохшими губами, и пить, пить изъ нея, утоляя вѣковѣчную безмѣрную жажду.

Весна въ природѣ, — весна и въ ихъ работѣ. Огромный юный пылъ, — и неумѣніе, незнаніе дѣлѣ. Всей душой рвутся они къ новой жизни, къ новому счастью, — но неясны еще ихъ порывы, безформенны цѣли впереди, ихъ взоры притягиваетъ еще не ясно прозрѣваютъ они будущее.

Скоро все это перемѣнится. Жизнь дастъ суровый урокъ. Исчезнетъ заоблачность, расплывчатость, свойственная юнымъ мечтаніямъ. Все меньше удѣляя вниманія старому, пойдутъ они впередъ, закаляясь въ борьбѣ, ступенька за ступенькой прокладывая дорогу къ будущему.

ГЛАВА XVI.

Вчера и сегодня.

— Въ «Котлинѣ» публикація объявила, чтобы не медля по всѣмъ экипажамъ были проданы всѣ легковыя лошади, коляски, сани, сбруя, кучерская одежда... Все это

на ворованныя казенные деньги закупалось, чтобы мадамъ офицерскимъ выѣзжать было въ чемъ. А нонче—нѣтъ ужъ, братъ, шабашъ! Кончено дѣло—каюкъ!

Это, какъ водится, Сорокинъ ораторствуетъ. У насъ на квартирѣ случайно скопилось сегодня много народу. У всѣхъ приподнятое настроеніе. Въ газетахъ нынче—отвѣтная декларациѣ правительства на требованія Думы. По слухамъ, представляя въ Думу этотъ отвѣтъ, правительство серіозно боялось революціоннаго взрыва и заготовило полные дворы полиціи и войскъ.

Дмитрій читаетъ вслухъ правительственную декларацию. На каждомъ шагу его прерываютъ восклицаніями, замѣчаніями, комментаріями.

— Начало права и справедливости въ арміи и флотѣ...— вычитываетъ Дмитрій:—...неприкосновенность личности...

— Ого! Личности! Какъ смажутъ, бывало, по личности, такая вамъ карточка пропечатанная получится, — мое почтеніе!

— И каша вмѣсто зубовъ!

— А нашъ-то Кисель-Загорянскій!—хочочутъ матросы:—Начнетъ ругаться, наказаніемъ грозить. Матрость взмолится: «За что, Ваше Превосходительство! не виновать»—«А, оселъ съ копытами,—разговаривать! Въ я совсѣмъ!»—«А, оселъ съ копытами,—разговаривать! Въ я совсѣмъ!»—«Да за что же?—карцеръ! На десять сутокъ въ карцеръ!»—«Да за что же?— «На двадцать! на двадцать!»—«Ваше Превосходительство!»... «На тридцать, оселъ съ копытами! Понялъ, болванъ? Понялъ?» Больше онъ не можетъ себя соблюдать, словно песъ цѣпной срывается, и ну дубасить матроса по чѣмъ ни попало, а самъ выкликаетъ: Одна моя бѣда—не могу я тебѣ большаго наказанія положить, пойми ты это, скотина стоецкая! Власти у меня не хватаетъ! Вотъ же тебѣ, вотъ тебѣ!

— А адмираль Рождественскій звѣзданеть, бывало, по башкѣ, ровно молоткомъ ударить! Гуль въ головѣ, словно отъ колокола съ Ивана Великаго. Дня три потомъ человѣкъ никакъ съ мыслями не можетъ собраться. Сколько людей онъ искалѣчили!

— Тяжелая у него рука! Да-а!

— Драконъ естественный!

И опять и опять, какъ изъ рога изобилія, сыплются примѣры. Вотъ плевокъ, по приказанію начальства слизанный языккомъ матроса съ палубы. Вотъ на бочкѣ, среди моря, матросъ въ легкой одеждѣ, простаивающій нѣсколько часовъ, въ осенній холодъ, рискуя ежеминутно упасть,— и тогда пиши пропало! Вотъ матросъ, который просился на берегъ, чтобы сходить въ церковь ради дня своего ангела,—и въ отвѣтъ получилъ приказъ—встать на верхній мостикъ и «смотретьъ до тѣхъ поръ, пока ангель сверху

не слетить». Вотъ вѣстовые, выносящіе урны съ нечистотами и получающіе оплеухи отъ сварливыхъ барынь. Вотъ офицеръ, въ порывѣ бѣшенства пихающій избитаго имъ солдата въ кипящій котель со щами, приговаривая: «команда все равно сожретъ тебя вмѣсто бычачины!»... А между тѣмъ—«Блюди свято званіе солдата!»—учатъ новобранца.

Дмитрій читаетъ дальше. Каждый реагируетъ на чтеніе по своему.

Вонъ москвичъ Смирновъ, съ пуговкой вмѣсто носа,— болѣе добродушнаго и незатѣливаго существа я еще, кажется, никогда не видала; стоя у окна, онъ послѣ каждого пункта разводить руками и тихо про себя бормочеть:— Вотъ ты, грѣхъ-то какой! Ну, что тутъ будешь дѣлать? а?— и смотрѣтъ недоумѣнно—вопрошающе своими дѣтскими безбровыми глазами. Вонъ высокій, блѣдный, не то эстонецъ, не то латышъ; молчитъ, насупившись, длинный носъ опустился и кажется еще длиннѣе отъ продолжившей его глубокой складки на лбу. Вонъ бѣлорусъ, худой, флегматичный; онъ выражаетъ свои чувства особымъ манеромъ—какъ-то особенно ловко сплевываетъ на полъ,—между прочимъ и по поводу требованія земли и амнистии; но устыженный на этомъ пункѣ сосѣдомъ, смущенно озирается, усиленно шаркаетъ ногами и замираетъ въ подавшемся впередъ позѣ. Калмаковъ сидѣтъ съ низко опущенной головой. Сорокинъ иронически улыбается въ тѣ немногія минуты, когда уста его смыкаетъ молчаніе. Тутъ же два енисейца. Одинъ, Родіоновъ, тихонько объясняетъ что-то товарищу, по прозванію Тиходумъ, который, видимо, съ трудомъ усваиваетъ такое количество премудрости, разомъ влившееся въ его непривычный къ думамъ мозгъ. «Ахъ ты, некошной, некошной!»—восклицаетъ онъ.

— ...Что же касается началъ права и справедливости въ арміи и флотѣ, то правительство заявляетъ, что начала эти въ войскахъ Его Величества съ давнихъ поръ установлены на незыблемыхъ основаніяхъ...

Нигдѣ никогда не видала я такого дружного взрыва негодованія и горестнаго изумленія, граничащаго съ остолбенѣніемъ. Всѣ тянутся къ газетѣ, читаютъ, сами себѣ не вѣря, протираютъ глаза, сталкиваясь головами, и рвутъ другъ отъ друга несчастные листы.

— Постойте! — перебиваетъ Дмитрій: — еще не все: «Нынѣ же заботы Державнаго вождя вооруженныхъ силъ Имперіи направлены къ улучшенію материальнаго быта всѣхъ чиновъ арміи и флота».

— Ситникомъ вздумали ублажить!

— Насъ? Ситникомъ?

— Это насть-то!

И пуще прежняго поднялись и зашумѣли кругомъ негодующіе голоса.

— Почему надпись на паркѣ: «собакъ не водить, нижнимъ чинамъ входъ воспрещается»? Это по праву? По справедливости?

— Ни внизъ на конку, хотя бы и въ морозъ!..

— Ни въ театръ на благородныя мѣста!..

— На что лучше: не стали на Господскую нашего брата пускать!

— Въ Питерѣ вышелъ запретъ на солнечную сторону Невскаго!

— Это почему?

— Да очень просто: послѣ обѣда жены офицерскія разгуливаютъ, а онѣ терпѣть не могутъ «проклятой матросни».

Проталкивается впередъ флегматичный бѣлорусъ. Глаза его неизнаваемы.

— А я гаварю: «Гаспадинъ офицеры! А гаспадинъ офицеры! сабацъ бѣгать по солнечной сторонѣ можно? а? вы минѣ тылько гэто кажице! — почти задыхаясь, возмущается онъ: — А? цо? значитъ, наше положеніе хуже сабацкаго? И цеперь же по старому? Да кая жъ вамъ будеть жалость отъ насъ! Трясца васъ забери! Кабъ холера васъ...

Въ самомъ дѣлѣ, недавно я сама на Невскомъ слышала, какъ офицеръ кричалъ на двухъ зазѣвавшихся солдатъ и посыпалъ ихъ подъ арестъ. Они заглядѣлись на невиданную роскошь столицы, на брилліанты,—новички, видно: «твоей бы Матрешѣ эдакія ровно сонца подъ ушами болтаются!» —на важныхъ швейцаровъ въ подъѣздѣ: «не министры ли?» —на упитанныхъ, флантирующихъ по панели господъ: «много, поди, хлѣбушка жрутъ!» Такъ вотъ за что тогда бѣднягамъ досталось! Не поняли приказа, не повѣрили, что кто-нибудь можетъ солнышко украсть, запретить глядѣть на свѣтъ божій.

— Всякая подлая, продажная тварь можетъ швырять нами, толкать насъ, бить давить, унижать, прорывать барабанныя перепонки, выбивать зубы, калѣчить оскорблять, надругаться надъ нами, плевать намъ въ лицо!

— Нѣтъ, ужъ дождаться бы только выступленія!

Подсаживаюсь ближе къ кучкѣ матросовъ. Мѣрно и проникновенно разсказываетъ одинъ: —...Окружили ихъ экипажъ пѣхотными войсками, видимо — невидимо, одно слово — осада. — Сдавайтесь, говорятъ. А тѣ будто заперлись внутрѣ, ни звука. Такъ и стоятъ. И боятся всѣ подсту-

питься къ нимъ. Ладно. Вдругъ адмиралъ Нидермиллеръ... Дернуль это за дверку, вошелъ въ помѣщеніе. Вошелъ, — и прямо: «Ребята, чѣмъ недовольны? Для вашей же пользы вѣдь въ Кронштадтѣ переводятъ, а вы упираетесь!» Вотъ тутъ и выйди матросъ одинъ, «праведникомъ» его прозвали, Шеломенцевъ Андрей по имени. И сказалъ онъ тутъ слово такое о начальствѣ, объяснилъ всю причину начисто. «По чьей, гыть, причинѣ наши братья на днѣ чужого моря оказались? Вы наѣхъ все только въ тупыхъ рабовъ старались превратить, вы наѣхъ дѣлаете палачами, душителями свободы, вотъ какая ваша забота о насъ... Ваши погоны кровью залиты, кровью несчастныхъ жертвъ, но эта кровь въ нашемъ сердце, мы свято хранимъ ее, отзовется она»... И пошелъ онъ тутъ, и пошелъ... А матросы стоятъ, и слезы текутъ у нихъ изъ глазъ, а онъ все говорить и говорить. А адмиралъ слушаетъ. Потомъ ужъ мнѣ сторожъ изъ штаба рассказывалъ: Пришелъ адмиралъ въ помѣщеніе, самъ не свой. Ходить по комнатѣ, ходить, да вдругъ какъ схватится за волосы: «До чего мы дожили! до чего дожили! Погоны наши залиты кровью! Такъ все въ глазахъ перевернутъ! Всю исторію наизнанку вывернуть!»... Ну, ладно. Какъ ушелъ адмиралъ, вошли войска внутрь. Ну, и потѣшились же офицеры сухопутные! Андрея да еще студента переодѣтаго потащили за ноги къ каналу, топить. Одинъ только и спасъ ихъ, когда ужъ черезъ барьерь хотѣли бросать ихъ: «Для суда, говорить, нужно сохранить ихъ! Птицы важныя.» Ну, будто образумились. Отъ канала потащили обратно въ помѣщеніе, опять за ноги. Раздѣли, на каменный полъ въ казармѣ бросили, и давай измываться! И били, и плевали, все больше въ глаза да въ лицо норовили, зубы вонъ, легкія отшибали!

Разсказчикъ немного передохнулъ и закурилъ цыгарку.

— А нонче недѣли двѣ, какъ судъ надъ ними состоялся. Всѣ главнаго свидѣтеля, Нидермиллера, ждали. Какъ скажетъ онъ, такъ и будетъ: смерть, — такъ смерть, каторга — такъ каторга. Всталъ съ мѣста, значицъ, своего, оглядѣлъ всѣхъ, важный такой, старый ужъ. — «А только, говорить, ничего плохого, окромя хорошаго, не могу я сказать про этого человѣка, — самъ на Андрея нашего указываетъ: — Одно, говорить, я знаю: кабы больше такихъ людей было у насъ во флотѣ и арміи, сильна бы была Россія, и была бы правда въ ней!»

— Ахнули судьи. Дали Андрею не то годъ, не то полтора дисциплинара.

— Гдѣ онъ сейчасъ?

— Въ Кронштадтскую тюрьму скоро перевезутъ.

— ...А лицо-то чистое, бѣлое, свѣтлый весь, одно слово — праведникъ!...

Что это? Легенда? Но если и такъ, хорошо, что такія легенды существуютъ.

Поджиная ушедшаго въ лагері Комова, сижу у моря на Косѣ, недалеко отъ форта Константинъ. Какая тиши! Волны мягко ласкаются, гибкія, пѣвучія, хотятъ заворожить, начаровать землю. Подъ музыку волнъ полумысли, полу-грезы, опасенія, желанія и воспоминанія тѣснятся въ головѣ, сталкиваются и разлетаются, какъ вспугнутая стая голубей.

Только что я была у минеровъ въ ихъ зимнемъ помѣщениі, откуда, еще не всѣ перекочевали въ лагерь. Все, что я увидѣла у нихъ, поразило меня: чистое, свѣтлое, просторное помѣщеніе, сытный, вкусный супъ, щедръ съ тарелокъ. Былъ еще ранній для обѣда часъ. Комовъ, чтобы угостить меня, заказалъ свой обѣдъ раньше другихъ. Къ намъ присоединилось нѣсколько его пріятелей, партійныхъ солдатъ. Мы сидѣли за особымъ небольшимъ столомъ, накрытымъ чистой скатертью. Не оглядывались по сторонамъ, спокойно ѳли и меня радушно потчевали. Чувствовалось, что они—хозяева у себя, знаютъ, что никто ихъ не одернетъ, никто не накричитъ. Разсказывали о борьбѣ съ начальствомъ изъ-за пищи, борьбѣ, окончившейся полной побѣдой. Всѣмъ хозяйствомъ завѣдуютъ теперь сами солдаты черезъ своихъ же выборныхъ, которыхъ всякий желающій имѣеть право провѣрять въ любой моментъ. Разсказывали, какъ измѣнились всѣ порядки въ ротѣ за послѣднее время, какое теперь отношеніе къ нимъ со стороны офицеровъ, корректное, а у нѣкоторыхъ прямо заискивающее.

Гордясь ими, я смѣло проходила послѣ обѣда черезъ столовую, въ то время какъ набирались въ нее другіе солдаты къ обѣду. Одни взглядами говорили, что понимаютъ, кто я; другие только молча вскидывали глазами; третіи, проходя, деликатно сторонились, чтобы дать дорогу. Ни жеста, ни замѣчанія. Все это какъ будто мелочи, но для меня, побывавшей нѣсколько разъ на дворѣ и въ казармахъ у развращенныхъ до мозга костей семеновцевъ, сегодняшнее мое посѣщеніе было чистымъ праздникомъ, отдыхомъ для души. Я видѣла, я ощущала, какъ революція не только просвѣщала умъ, но утончала и облагораживала душу.

Положимъ, минеры въ большинствѣ случаевъ—бывшіе рабочіе, и уже на службу пришли болѣе развитыми сравнительно съ другими пѣхотинцами. Но видимо, и на службѣ они не теряли времени. Спасибо эсдѣкамъ, поработали они въ этой средѣ.

Солнце зашло. Заря пылаетъ, вся золотая, вся свѣтлая. Розовыми пятнами рдѣетъ море. Легкія облака плывутъ, обгоняя другъ друга, вслѣдъ за ушедшими солнцемъ. Горятъ золотомъ глыбы фортовъ. Кажется, вся земля, окутанная нѣгой и убаюкивающей тихой дымкой, излучаетъ и возносить ввысь радостные свѣтлые тона. Еще блескомъ виднѣется только что взошедшій мѣсяцъ, но еще немного,—и онъ зарумянится, кинувъ отъ себя широкую свѣтлую полосу.

На берегу красными кружочками уже зажигаются кое-гдѣ ранніе огоньки. Окна домовъ отливаютъ расплывчатымъ золотомъ. Откуда-то слабо доносится перезвонъ коровьихъ колокольчиковъ. Тихо плещутся волны о берегъ.

Шаги... Комовъ съ Сорокинымъ. Вытираютъ потъ со лба, возбужденные, что-то рассказываютъ о какой-то встрѣчѣ съ офицеромъ, о полученномъ замѣчаніи. Но говорятъ весело и добродушно,—видно, что не они побѣженные. Я не вспоминаю, я смотрю на ихъ лица.

Переговорили о дѣлахъ. Пора бы какъ будто и расходиться. Но оба сидѣть,—видно и на нихъ подѣствовало обаяніе тихаго вечера. Снопомъ мягкихъ лучей прорывается изъ глазъ Комова глубокое наслажденіе, почти торжественность. Только губы сжаты, только не покидающая его никогда складка на лбу все та же. Сидитъ, обхвативъ колѣнки крѣпкимъ обнимающимъ жестомъ, приткнувшись толстымъ подбородкомъ къ сукну шароваръ и глядя снизу вверхъ на него съ зарей и облаками. Сорокинъ крутитъ «собачью ножку», попыхиваетъ ею. Привыкшій къ движенью, онъ все что-то разсказываетъ, поминутно сплевывая.

— Съ «Цесаревича» двадцать четыре винтовки пропало, хватились—двухъ матросовъ нема! Вотъ оно!—припасаютъ заблаговремя. А то еще и другое: 1-го мая на немъ же бунтъ учинили. Дали, вишь ли, имъ, вмѣсто макаронъ, какую-то, прямо сказать, кашу изъ клея. Ну, бунтъ, всѣ борта броненосца въ клею этомъ. И мыть отказываются. Скандалъ; броненосецъ макаронный. У насъ смѣются: начальство плохую броню сдѣлало, такъ матросы попробовали, не крѣче ли изъ макаронъ будетъ. Теперь, говорятъ, командиръ судна и старшій офицеръ должны въ отставку подать.

Не поддержаный никѣмъ, Сорокинъ замолкаетъ.

Пыхтитъ папироской. Но черезъ минуту ему ужъ не терпится:

— Еще на этомъ-же «Цесаревичъ» исторія тоже была. Крамолу, вишь, искали, и 20 человѣкъ вонъ съ судна неблагонадежные будто. А команда: «Почему такому на-

шихъ товарищевъ отъ насъ забираете? Не желаемъ! — и сейчасъ къ оружіямъ. Отстояли товарищей! Оставили ихъ.

Вотъ на него не дѣйствуетъ даже такой вечеръ! — думаю я, глядя на Сорокина. Точно загипнотизированный, все обѣ одномъ и грезитъ и мечтаешь, и нѣтъ человѣческихъ силъ сдвинуть его съ его любимаго конька.

Знакомо мнѣ такое состояніе. Вредно оно, какъ всякая односторонность, но зато съ нимъ такъ легко! Легко обходишься безъ сна, безъ Ѣды, безъ отдыха бѣгаешь, и живешь и думаешь, какъ во весь ходъ пущенная машина. Точно что-то большое и властное вошло въ душу, зажгло въ ней костеръ и запрятало въ самый дальний уголъ всѣ твои слабости и недостатки. И забываешь о своемъ прежнемъ маленькомъ «я» и о такихъ же маленькихъ, слабенькихъ «я» другихъ людей. Только радуешься этому всеобщему устремленію къ свѣту, все выше, къ загорающемся солнцу...

А Сорокинъ той порой продолжаетъ свое:

— Занятно право... съ литературой вотъ тоже... куда привозятъ-то, знаете?

— Нѣть! — улыбаясь не словамъ его, а улыбкѣ, отвѣщаю я.

Онъ наклоняется къ самому моему уху и таинственно шепчетъ.

— Не можетъ быть! Вѣдь это все равно, что въ охранку!

— Оно самое и есть! Это у насъ Русь музыку-то эту обмозговалъ! Ваши эсдэки съ головой, нечего сказать! — обращается онъ къ Комову. — Право, занятно. Съ парохода, бываетъ, тащать корзиницу. Шпикъ привяжется. Ну, а какъ увидитъ, «куда» ее вносятъ, сразу отстанетъ, — думаетъ — бумаги правительственные. А «тамъ» свои люди служатъ. Сейчасъ всю литературу по портфелямъ, — и премехонько въ казармы: кульеры — никто и вниманья не обращаетъ. Придетъ, скажемъ, къ намъ въ экипажъ такой кульеръ, вызоветъ, къ примѣру, меня, сядемъ къ столику у кровати, будто чай пить, а сами подъ столомъ-то и дѣлимъ ее, матушку. Одного подзовешь, другого, — черезъ полчаса — фыюйти! Словно рѣка-рѣченка протекла, ручьями да ручейками. Живехонько! Весело такъ! — даже захлебнулся, даже языкомъ прищелкнулъ онъ.

Комовъ медленно вставляетъ:

— А у начальства — сколько бумагъ однѣхъ за разными номерами испишутъ, а дѣла ни на грошъ! Циркуляры, предписанія, справки, распоряженія, бумаги отвѣтныя...

— На что вотъ иглу взять, — перебиваетъ Сорокинъ: — обыкновенную иглу, тентъ зашить. А и то нужно въ портовую контору прошеніе подать, а тамъ еще спрашиваются, въ одну канцелярію пошлиютъ, потомъ въ другую, гдѣ-нибудь

еще бумаги перепутаютъ, или просто подъ сукно положать. Съ мѣсяцъ времени пройдетъ, бумагъ на рубли изведутъ, а иглѣ и цѣна-то вся — пятакъ. И все у нихъ такъ. А у насъ — живымъ духомъ, во всю моченьку! Знай держись!

— Имъ вѣдь не суть дѣла, а только видимость нужна, — замѣчаетъ Комовъ: — съ малымъ борются, а большое прокакиваетъ. Потому мы и революцію можемъ дѣлать, что покой имъ дороже, услѣдить за ними имъ даже лѣнъ.

— Въ порту у насъ тоже было. Поймалъ полицейскій рабочаго, — нашель у него винтикъ въ карманѣ. Привелъ къ помощнику завѣдующаго. На что ужъ тотъ воръ, а и онъ разсердился: — Когда, говоритъ, винтъ отъ парохода на дняхъ пропалъ, въ тридцать пудовъ, — такъ вы не видали, а маленький винтикъ увидѣли! Прогналъ полицейскаго, а рабочаго отпустилъ!

Черезъ четверть часа мы съ Комовымъ шагаемъ по дорогѣ. Сорокинъ ушелъ на собраніе вглубь Косы, а Комовъ возвращается въ казармы. Намъ по пути.

Заря погасаетъ. Призрачно прозрачныя сумерки спускаются на землю. Небо подернулось блѣдно-матовыми вечерними красками, нѣжными красками сѣвера. Стало еще тише. Издали глухо доносится лай собакъ. Повѣяло особой вечерней грустью, мягкой, легкой.

— Комовъ, — говорю ему тихо, чтобы не нарушить настроенія: — Комовъ, вы вѣрите въ побѣду?

— Въ побѣду? — изумляется онъ: — а вы... вы развѣ... не вѣрите?

— Не знаю, ничего не знаю. Не могу себѣ представить побѣду, не хватаетъ воображенія. Но пораженіе тоже кажется немыслимымъ.

Комовъ съ сожалѣніемъ смотрѣтъ на меня.

— Интеллигенты вы... потому и мудрите съ мыслями разными... — Но говоритъ онъ это такъ бережно, такъ по отечески, что тронулъ меня окончательно.

— Намъ легче, — продолжаетъ онъ, какъ бы извиняясь.

— Да, вамъ легче, да вы и нужнѣе, революція сдѣляется вами.

— Вѣрьте, безпременно быть по нашему, все перевернется, — заговорилъ онъ, остановившись. Свѣтъ фонаря падаетъ ему прямо на лицо, такое толстое, доброе, славное. «Словно добрый, все знающій, все понимающій папаша» — подумала я. Почему-то папашей онъ мнѣ кажется, а вѣдь навѣрно, мы съ нимъ однолѣтки.

— Намъ виднѣе! — снова зашагалъ онъ по дорогѣ, давая мнѣ пройти впередъ: — На что офицеры... Какое имъ

раньше дѣло было до насъ? А теперь вы посмотрѣли бы: вы-ста да мы-ста! Но не вѣримъ мы имъ, не настоящее это...

Мы уже подходимъ къ ихъ казармамъ, гдѣ какъ разъ играютъ зорю.

— Пора вамъ!—говорю.

— Ничего, не строго теперь!—отмахивается онъ.

Прощаемся. Крѣпко, какъ родные, жмемъ другъ другу руки.

— Вѣдь вы соціал-демократъ!—вдругъ вспоминаю я:— какъ хорошо, что мы объединились!

— Да развѣ безъ этого уйдешь куда! Ни съ мѣста!— восклицаетъ онъ уже въ воротахъ.

Бѣлѣетъ дорога. Легли тѣни отъ кустовъ, и сами кусты прикрасились лунными пятнами. Шепчутся таинственно при малѣйшемъ вѣтеркѣ, протягиваютъ тонкія вѣтки... Бѣлѣетъ дорога... и уходитъ далеко, въ безконечность.

ГЛАВА XVII.

Б а б і й в о п р о с ъ .

У насъ опять тревога. И опять опасаясь обыска, приходится искать ночевки гдѣ-нибудь на сторонѣ.

Подхожу къ зданію флотскихъ экипажей, гдѣ на казенныхъ квартирахъ живутъ семейные сверхсрочные, «шкуры». Осторожно стучусь у одной изъ многихъ дверей, въ общемъ коридорѣ-сѣняхъ. Въ квартирѣ темно. Но вотъ за дверью шаркаютъ туфли. Открываютъ.

— А, это вы?—встрѣчаетъ меня жена фельдфебеля Барабанова, Секлетеевна.

Никогда мнѣ не избавиться отъ тяжелаго чувства; съ которымъ подходитъ каждый разъ къ женѣ товарища изъ солдатской среды. Онъ знаетъ, куда и зачѣмъ идетъ. А жена? Сплошь и рядомъ не посвящена въ дѣло, не зажжена высокимъ порывомъ, при которомъ все легко переносится. А вдругъ обрушится на семью несчастіе, такое для нея непонятное, неожиданное? И я отчасти виновница этого—кто знаетъ—б. м. уже близкаго горя? Какъ я могу быть простой и свободной въ обращеніи съ нею? Какъ я могу отвѣтить на ея милую привѣтливость такъ же искренно? Вѣдь это будетъ поцѣлуемъ юды?

Кипитъ, гудитъ самоваръ, поблескивая въ темнотѣ красными уголечками. Тихо мерцаетъ лампадка передъ образомъ. Раскинувшись въ кроваткѣ, спить пухленѣй золотоголовый мальчикъ. Громко причмокивая, сосѣть

кулачекъ ребенокъ въ люлькѣ. Тихо, спокойно, уютно. Столько любви, ласки, заботы и къ дѣтямъ, и ко мнѣ, и ко всему свѣту.

Загораживая свѣчку рукою, подводитъ меня къ кроваткѣ. Наклоняется къ дѣтской головкѣ любящее материнское лицо, такое покойное и счастливое.

Но вотъ вернулся хозяинъ, а съ нимъ Русь,—этотъ пришелъ взять какіе-то планы или записи хранящіеся здѣсь, какъ въ болѣе безопаснѣмъ мѣстѣ. Оба сейчасъ только съ собранія въ экипажѣ, бодрые, возбужденные.

Хозяинъ, порывшись, извлекаетъ и суетъ Руси его бумаги. Затѣмъ торопливо идетъ за перегородку. Слышно,— какъ онъ шушукается тамъ съ женой, потомъ фыркая, моется, и наконецъ выходитъ къ намъ въ тѣльной рубашкѣ, съ зеркаломъ въ рукахъ, примазываетъ и приглаживаетъ мокрые волосы, стараясь сдѣлать проборъ ровно, по нитокѣ.

— Вы какъ, ничего? Не взыщете? Чай, понимаете простой народъ? Ничего, что я такъ при васъ?

А самъ усаживается у стола, наливаетъ кипятку изъ самовара, и ну шаркать бритвой по своему гладкому, какъ огурецъ, лицу. Щурить умные глаза, языккомъ щеку выпираетъ, строя уморительныя гримасы, искоса стараясь заглянуть въ зеркало. Жена подаетъ брилліантинъ, фиксаторъ. Оглядѣлся въ зеркало, дохнуль изъ себя воздухъ.

— Важно!... Видите ли,—обращается онъ ко мнѣ,— суббота сегодня, получка у насъ. Ну такъ вотъ... Эге, да тутъ еще малость бы надо!

И опять прильнуль съ бритвой въ рукахъ къ зеркалу.

— Полно разговаривать! — обрывается его жена:— Обрѣжешься еще! Знай свое скорѣе кончай, а я ужъ объясню барышнѣ.—Дѣло-то видите какое,—начинаетъ она:— субботняя получка, ну и пристали къ нему товарищи по службѣ:—Пойдемъ да пойдемъ вспрыснутъ.

— Они вѣдь шкуры,—ну, конечно, несознательные, вотъ и выпиваются, натурально!—вставляетъ Барабановъ.

— Да вѣдь и мы съ тобою шкуры!—усмѣхается Русь.

Барабановъ кончилъ бритье и снова возится за ширмой.

— Ты, смотри, новые надѣнья!—кричитъ ему жена.— Ужъ такой замурызганный ходить,—прямо стыдъ—жалуется она мнѣ.—И бритье было не хотѣлъ,—хорошо, еще что она доглядѣла. И такъ уже замѣчаютъ товарищи, совсѣмъ отъ ихъ компаний отсталъ. Встрѣтишься съ ихъ женами въ лавочкѣ,—вотъ и начнешь языками чесать! «Твой-то, ужъ съ недобрими людьми часомъ не спознался ли? Словно таится всего, и выпивать бросиль, глазъ ни къ кому не кажется»...

И какой ты, право, Петя,—тономъ укора снова обращается она къ мужу:—Нужно же ихъ уважить! А то пристали сегодня къ нему, а онъ.—«Въ баню, говоритъ, собирался»: да къ цырульнику, да то, да се! Я ужъ и то вступилась, «Изъ бани, говорю и сходи!» Тѣ даже удивились: невиданное дѣло, чтобы жена сама мужа на выпивку посыпала.

Расфранченный, надущенный, Барабановъ выходитъ, наконецъ, изъ-за перегородки. Лицо его блеститъ, какъ начищенный самоваръ, волосы обильно напомажены, усы отъ фиксатуара торчатъ стрѣлками. Но и сквозь весь этотъ мѣщанскій блескъ, которымъ онъ старается окружить себя, пробивается его обычное, одухотворенное, славное выраженіе.

— Я и говорю имъ: «Ну ладно, такъ и быть, вправду что-то давно не выпивалъ. Не ушла пока молодость, дай вспрысну! Живымъ манеромъ, говорю, обмоюсь, да и закачусь къ вамъ въ веселую компанию»... Сколько теперь времени? Ай, какъ ужъ поздно!—спохватывается онъ.

Секлетеевна надѣваетъ на него шапку и съ гордымъ, самодовольнымъ видомъ любящаго человѣка оглядываетъ его, провожая за порогъ.

— Ужъ не взыщите, матушка барышня,—говорить она, возвращаясь:—что огня не зажигаю. Такія у насъ сосѣдки любопытныя, и-и! Страсть! Не приведи Господи! Спять—во снѣ видятъ, гдѣ бы что разнюхать да по миру разславить. Ужъ такъ ихъ приходится осторегаться—тономъ заговорщицы шепчутъ она, наклоняясь.

Она уходитъ къ захныкавшему ребенку, и оттуда долго доносится мѣрное поскрипываніе люльки. Мы съ Русью подъ пыхтѣніе самовара чайничаемъ и полушопотомъ ведемъ тихую, задушевную бесѣду.

Онъ такой славный, этотъ Русь. Весь заросъ густой черной щетиной, только носъ да низкій лобъ бѣлѣются. Когда улыбается, глазки прячутся въ щелки и собираются вокругъ себя оборочки изъ кожи. Наивный до ребячества; дѣльный до виртуозности во всемъ, за что берется; чистый, непосредственный, трогательный.

Онъ разсказываетъ мнѣ о своей жизни, о службѣ, о горестяхъ, сомнѣніяхъ, надеждахъ. Разсказываетъ долго, проникновенно, видно подошла такая минута, хочется передъ кѣмъ-нибудь излиться.

.... Подумаешь только, какъ все перемѣнилось и какъ все въ жизни просвѣтлѣло, стало вольготнѣе, радостнѣе! Словно осіяло тебя, и душу пригрѣло, и выпрямило-всего! Ужъ на что я по своимъ заскучавши,—шестой вѣдь годъ пошелъ, какъ не видался съ ними,—а вотъ вѣдь, ради революціи остался на «шкуру». Господи! да тѣхъ же нашихъ «шкуръ» возьмите. Темный, пакостный, можно ска-

зать, народъ, а и они къ тому же... У всѣхъ славное новое что-то засвѣтилось впереди, всѣ чего-то словно ожидаютъ. Офицера на что,—и тѣ... Для ради святого дѣла развѣ пожалѣешь чего, хоть жизни, хоть чего другого...

Секлетеевна уже успѣла укачать ребенка, вышла къ намъ, усѣлась, не торопясь, за столъ, налила всѣмъ чаю, положила каждому варенья на блюдечко, пододвинула булки и, погрызывая кусочки сахара крѣпкими, молодыми зубами, прихлебываетъ чай съ блюдца, а сама слушаетъ, слушаетъ...

А вотъ жену-то свою вы просвѣщаете?—вдругъ врѣзываются она въ рѣчъ Руся.

— Это какъ же? Это къ чему вы... разговоръ такой затѣяли?—насторожился тотъ.

— А къ тому: кроетесь вы отъ нея съ дѣлами своими?—еще настойчивѣе и суроѣвѣе повторяетъ она.

— Какъ же такъ? Коли я членъ гарнизоннаго собранія, долженъ что ли я и бабу свою на собраніе тащить?

— Не про то я. А вотъ вы тутъ про радость жизни, про то, да се толкуете... Э-эхъ! Мозгачи!... Радость-то... да ее нужно всѣмъ нести, а вы отъ первого вамъ человѣка кроетесь, какъ дурную болѣзнь, прячете. Утайщики, молчальники!

Рванулась зло и ушла въ другую комнату, къ ребенку.

— Вотъ те на!.. Какая азартная!—бормочеть озадаченный Русь.—Моя-то Матреша тишае, много тишае.. Куда ей!.. За что это она меня такъ? Вотъ такъ откачерижил! Ну-ну!.. Секлетеевна! Будетъ серчаты! Иди къ намъ! Не хоронимся, разъ ты такая... до дѣла жадная!

Не сразу появилась Секлетеевна. И то не сѣла на стулъ, а въ дверяхъ остановилась.

— Почему вы сердитесь?—спрашиваю ее.
Тихо тлѣть забытый костеръ. Но вотъ подулъ вѣтеръ,—зашипѣль костеръ, трещитъ, кидаетъ во всѣ стороны искрами, лижетъ огневыми языками, растетъ, раздувается, озаряетъ далеко кругомъ жизнью и свѣтомъ,—вдругъ проявляется вся скрытая сила огненной стихіи.

Такъ и Секлетеевна. Баба, какъ баба: теплая, ласковая,—вотъ, казалось, и вся ея сущность въ этомъ. Принимаетъ меня добродушно, хорошо, запросто. А тутъ вдругъ вспыхнула, загорѣлась. Ребенокъ заплакалъ,—и про него будто сразу вспомнила...

— Сколько муки мученской перетерпѣла я по милости ума вашаго мужчинскаго! Сколько горюшка приняла!.. Вѣдѣ рите ли?—повертывается она ко мнѣ.—Жили мы съ мужемъ завсегда ладно. Ужъ сколько годиковъ! Онъ, бывало, въ деревню на побывку пріѣдетъ,—не налюбуются всѣ на

насъ, какъ на ясныхъ соколовъ. Блюла себя. Чуть что, сейчасъ къ мужу. И въ Кронштадтъ перебралась, чтобы съ нимъ въ разлукѣ не быть. И вдругъ стала неладное за нимъ замѣчать: съ чѣмъ-то хоронится отъ меня, товарищи новые завелись, пропадать сталъ. Раньше франтъ франтомъ ходилъ, а тутъ и одежду всю спустилъ. Совсѣмъ чужой сталъ, о чѣмъ-то задумывается. И ума не приложу, съ чего это. Придетъ поздно, я и виду не показываю, будто сплю. Бросится къ окну, выглядываетъ во всѣ стороны,—а услышить стукъ, такъ и вздрогнетъ весь. Что за притча?—думаю. Спросишь—хмурился: «не твоего, говорить, бабыаго ума дѣло». Къ сосѣдямъ за совѣтомъ не пойдешь, а вижу, что своего ума деревенскаго мало. А главное, что пропадать сталъ, ночи двѣ кряду разъ не явился.

— Это, навѣрно, когда артиллерію на смотръ увозили, тогда по ночамъ обсужденія шли!—вставляетъ Русь.

— Тутъ ужъ такое въ голову вступило: измѣнщикъ, думаю. Вся причина, думаю, въ какой разлучницѣ. Сколько слезъ было пролито! Инда къ утру вся подушка мокрая. Ждешь его,—вотъ-вотъ, думаешь, звякнетъ кольцо у воротъ. И начнешь среди ночи шептать: Миленький! Хоть пьяненький, да приди! Хоть побей, да приди,—все стерплю! «Да куда тамъ! Добро выпиваль,—а то вѣдь бросилъ! Прямо, какъ отъ яду какого, воротить его отъ водки... А то среди ночи не сплю, гляжу на него: и онъ, и не онъ. Господи! Вразуми меня! Научи ты меня, наставь уму-разуму!.. Вотъ разъ лежитъ онъ со мною рядомъ, да вдругъ какъ крикнетъ со сна: «Вотъ когда поживемъ то мы!»—да какъ жмакнетъ кулаками въ разныя стороны,—чуть успѣла отвернуться, а то бы прямо по лбу. «Вспятиль, думаю, какъ есть спятиль! Убьетъ, безпремѣнно убьетъ!» Не знаю, что со своей головушкой дѣлать,—къ доктору ли пойти, по начальству ли заявить.

Русь слушаетъ, видимо, до-нельзя пораженный.

— По начальству! Вотъ дурья голова!—бормочеть онъ,—да ты въ умѣ ли?

— Я вѣдь не про теперешнее, про старое выговариваю. И не за себя только, а и за всякую бабу обидно. Вотъ и вы... поди што со своей Матрешей такъ же обходитесь? Вѣрно я говорю... Ну, за что вы насъ умучиваете?

— Какъ же вы съ мужемъ-то поладили? Какъ все объяснилось у васъ?—спрашиваю я.

— Корзинкинъ помогъ. Слыхали, можетъ?

— Какъ же, какъ же!—прерываетъ Русь.—Знаете, что изъ Баку сюда за неблагонадежность присланы? Такъ онъ изъ тѣхъ.

— Не вамъ чета, умникамъ!—какъ весенній громъ громыхнула Секлетеевна, будто сердито и ворчиливо, а на самомъ дѣлѣ добродушно, почти весело.

— Да, онъ у насъ, что говорить, первый сортъ. Что твоя машина — полнымъ ходомъ дѣйствуетъ!—вторитъ ей Русь, пропуская мимо ушей брошенную ей шпильку:—и на извороты разные хитеръ. Разбросаются по казармѣ прокламацію,—сейчасъ его за бока, ему изваніе «политикъ»:—«Никто, какъ ты! революціонеръ!»—кричатъ на него. А онъ простецомъ прикинется: «Дозвольте, говорить, Ваше Благородіе, разъясненія испросить, что это самое слово собой обозначаетъ: ралювацинеръ? Да такъ слово наизнанку перевернетъ, что мы ажъ отъ смѣха задохнемся!

— Головастый!—смѣется и Секлетеевна.—Мужъ тоже разъяснявалъ. Книжки нашли въ экипажѣ что ли. Призываютъ его:—Это ты книжки въ экипажѣ заносишь съ воли?—Какая книжки? Печатныя?—Да, печатныя?—Задумался. Тѣ ждутъ, вотъ разъяснить имъ, гдѣ бралъ.—А гдѣ онъ?—спрашивается, и сурьезно такъ. Тѣ совсѣмъ обрадовались:—Да вонъ, на столѣ лежать!—Вотъ эвти самая?—Ну, да!—А можно полюбопытствовать? на досугѣ такъ?—Зачѣмъ это?—А прочитать, что такое въ нихъ объясняется. Очень даже интересно это. Разозлились,—выгнали его.

Оба весело хохочутъ.

— Ну, какую же пользу оказалъ вамъ этотъ удивительный Корзинкинъ?

— А очень просто. Приходилъ онъ къ намъ. Иной разъ мужа нѣтъ,—сидитъ, ждеть. А слова-то у него въ горлѣ не прячутся, какъ у нашихъ умниковъ, а на кончикѣ языка скачутъ. Вотъ и сталъ онъ мнѣ все больше объясняться. Тутъ-то я и поняла! Какъ опознала, что мужъ мнѣ вѣрности... что тутъ было-то!.. И говорю я Петѣ: «Что ты скрываешься отъ меня вздумалъ, дурашливый ты! Я вѣдь все знаю, на что вы идете!» И рассказала ему все, что сама понимала. А онъ смотритъ, смотритъ,—да вдругъ какъ бросится на меня, да давай обнимать! «Милая, говорить моя женушка!»—Глупый ты, говорю,—хоть и мужчина! Ну-ка, пришли бы съ обыскомъ! Сколько недобраго, можетъ, наговорила бы по глупости!—А онъ знай свое:—Милая да милая! Прильнуль,—не оторвешь! Словно сейчасъ изъ-подъ вѣнца!.. Съ той поры и радость ко мнѣ вернулась. «Петя, не спиши?—спрашиваю, бываетъ, ночью тихонько:—Давай поговоримъ!» И начнемъ это вдвоемъ, разныя мечтанія разводить! И до чего же это, родимые, хорошо-то!

— Всѣ молчимъ. Задумались.

— Д-да-а!—вдругъ, крякнувъ, встаетъ Русь и прощается.

— Что?—спрашиваю я его:—Видно, Секлетеевна теперь вамъ услужила, какъ ей Корзинкинъ? Надоумила какъ вамъ съ вашей Матрешей быть?

— Оно такое дѣло!—скребеть онъ въ головѣ, видимо сильно затронутый, но еще не рѣшившій труднаго вопроса.

Поздно вечеромъ—хозяинъ еще не вернулся, а мы съ Секлетеевной уже спать было улеглись—раздается сильный стукъ въ дверь. Секлетеевна быстро вскакиваетъ, выхватываетъ изъ-за образовъ пачку бумагъ, суетъ ихъ мнѣ, подводить къ печкѣ, подвигаетъ керосинъ и спички.

— Пойду спрашивать. Коли махну рукой, жгите скорѣе!

Черезъ минуту снова подбѣгаешь и шепчетъ мнѣ на ухо:

— Чужой голосъ... мужа спрашиваетъ... голосъ будто боязливый...

А вслухъ продолжаетъ:

— На что Барабановъ ночью понадобился?

— Очень нужно, впустите!—послышалось глухо и просительно изъ-за двери.

— Такъ полиція не входить. Какъ будто свой! Отперла. Входять два матроса.

— Дома?

— Нѣтъ. Зачѣмъ онъ?

— Да нужно... Дозвольте обождать... Очень требуется.

Мнѣ изъ-за перегородки слышно, какъ они переминаются въ нерѣшительности.

— Да вы не таитесь!—ласково, немного ворчливо уговариваетъ ихъ Секлетеевна.—Можетъ, подсобить въ чемъ надо?

Что-то наконецъ говорятъ ей почти шепотомъ. О чёмъ-то шушукаются съ ней.

— Такъ и есть! Изъ нашего экипажа изъ-подъ ареста убѣгли! Сей секундъ скрылись! Сейчасъ ихъ хватятся!—шепчетъ мнѣ Секлетеевна, забѣжавъ на минутку.

Набрасываетъ на себя шаль, выхватываетъ изъ люльки ребенка.

— Знаю, гдѣ для такихъ случаевъ одежда вольная припрятана—я за ней мигомъ слетаю!

— А ребенокъ зачѣмъ?

— Закричить еще... сосѣдка, чего доброго, прибѣжитъ. Такъ вѣрнѣе, съ собой я дите... А вы тихонько сидите! Нишкните!

— Мигомъ разстараюсь, соцоколики!—кидаеть она матросамъ, выходя въ коридоръ и снаружи запирая за собой дверь на ключъ.

Тѣ все еще жмутся и мнутся.

— Да будетъ вамъ, товарищи!—говорю я имъ, выходя изъ засады:—Не видите что ли? Къ своимъ попали!

— Такъ и вы товарищъ?—несказанно обрадовались тѣ.—А то намъ сказали только про «шкуру», про Барабанова, чтобы ему довѣриться... Про женщинъ-то ничего не наказывали, вотъ и сумлѣваемся...

Рассказываютъ, какъ были артельщиками на суднѣ и отказались принять гнилое мясо, какъ завѣдующій хозяйствомъ офицеръ надавалъ имъ пощечинъ, какъ они, вѣдь себя бросились на него, чуть совсѣмъ не убили, и угодили подъ военный судъ. Разсказываютъ, а сами прислушиваются ко всякому шороху, подбѣгаютъ къ окну. Полчаса отсутствія Секлетеевны, навѣрно, показались имъ за цѣлую вѣчность...

Наконецъ щелкаетъ ключъ, и сама она, съ огромнымъ узломъ въ одной рукѣ, съ ребенкомъ въ другой, вваливается въ комнату, запыхавшаяся, выбившаяся изъ силъ.

— Ну, ребята, поскорѣе! И вамъ да и намъ пропадать не резонъ!

Солдаты пыхтѣть, возятся за перегородкой. Новое горе: для одного сапогъ не оказалось, для другого шапки. Но Секлетеевна уже шуршитъ по шкафамъ и по комодамъ, выдвигаетъ изъ-подъ кровати какія-то коробки, отъ которыхъ разить нафталиномъ, и только приговаривается: «Были! Знаю, что были гдѣ-то у мужа завалящіе!»

Выискала-таки.

Подождите... по коридору пройдусь. Коли махну рукой, прямо къ выходу идите да на цыпочкахъ!... А по улицѣ пойдете,—голову выше, и не больно торопко... Ну, съ Богомъ, со Христомъ... Да на пароходѣ-то порознь входите, и промежъ себя не разговаривайте... будто другъ друга незнамые!

Вернулась изъ коридора, высунулась въ окно.

— Только ихъ и видѣли, голубчиковъ! Только пятки сверкаютъ!—затряслась она отъ дробнаго нервнаго смѣха, повернувшись ко мнѣ свое красивое, возбужденное лицо.

И уже снова заметалась: разъ, два, три! Ужъ пылаеть печка, ужъ горятъ въ ней всѣ матросскіе доспѣхи, и рубахи, и штаны. Притащила ножъ, сапоги пополамъ, скоблить голенища, сажей да углемъ фамиліи владѣльцевъ замазываетъ. Выскользнула за дверь, утащила ихъ куда-то на дворъ.

Наконецъ, вотъ и пароходный свистокъ. Уѣхали! А тревоги еще и не было! Ура!

Вернулась Секлетеевна, такая важная, даже торжественная. Подходитъ къ образу Владычицы, крестится, крѣпко прижимая пальцы ко лбу, плечамъ и груди. Вдругъ снова стукъ.

— Ты сестренница моя! Изъ деревни говорите, что пріѣхала! Ложитесь!—путая ты и вы, шепчетъ она мимоходомъ, идя къ двери.

Выглядываю изъ-подъ одѣяла. Съ оханьями и причитаніями вѣгаєтъ сосѣдка.

— Неужто не слыхали? Убѣгли вѣдь!

— Кто?

— Да матросы-то!

— Какие матросы? Чой-то, сосѣдушка, не попритчилось ли?

— Провалиться на этомъ мѣстѣ, коли вру!

Въ два голоса обѣ ахаютъ, и причитаютъ.

— Мой-то въ погоню назначенъ. Прибѣжалъ изъ канцеляріи, одѣлся, и со двора. А я вотъ сюда...

Неужели мы рано зарадовались? Да нѣтъ! До Лисъяго Носа всего полчаса Ѣзы. Да, наконецъ, тамъ и телефона нѣтъ, задержать невозмѣнно. Спасены, несомнѣнно спасены!

Не проходить и получаса,—снова та жесосѣдка.

— Вернулся мой съ пристани,—никакіе тамъ матросы не пріѣживали. Наказаль, какъ появятся два матроса, хватать ихъ. А сами по городу бросились искать, по бульварамъ да оврагамъ.

Потомъ ужъ Секлетеевна рассказывала мнѣ, что всю ночь въ экипажѣ шла возня. Хлопанье дверей, топотъ ногъ по лѣстницѣ, громкіе, сердитые голоса и женскія оханья. Но я ничего не слышала, и подъ такой аккомпанементъ спала непробуднымъ, каменнымъ сномъ.

Просыпаюсь. Въ томъ закуточкѣ, гдѣ я спала, ставни еще закрыты. Почти темно. Въ душѣ тихій перезвонъ колоколовъ. Мягко переливается радость, грезы еще окружили свѣтлыми видѣніями и томятъ душу радостнымъ трепетомъ.

Вдругъ топотъ дѣтскихъ босыхъ ножонокъ:

— Тетенька! Мамка вставать велитъ!

Точно серебряный колокольчикъ, звенить — звенить лепеть, радостнымъ аккордомъ врываясь въ золотой сонъ. Теребятъ меня теплые рученки, любопытно разглядываютъ веселые, только что раскрывающіеся на жизнь глазки.

Крѣпко, крѣпко жму хозяевамъ руки на прощаніе. Цѣлую золотую головку. Никогда не забыть мнѣ этого вечера и этой ночи.

ГЛАВА XVIII.

Тревога за тревогой.

Мы уже совсѣмъ размечтались было о прочной дружбѣ съ соціал-демократами. Уже подумывали о сліяніи съ ихъ рабочей организаціей, въ виду возможности совмѣстного выступленія въ недалекомъ будущемъ. Строили десятки плановъ...

И вдругъ намъ сообщаютъ однажды утромъ, что они всѣ переарестованы! Мы забили тревогу. Но потомъ оказалось, что гроза разразилась только надъ нашими союзниками. Нѣсколько человѣкъ, въ томъ числѣ Маркъ, успѣли скрыться, остальные взяты. Остался лишь одинъ, по кличкѣ Арсеній. Уцѣлѣла и ихъ главная квартира, гдѣ они принимали по всѣмъ дѣламъ.

Эти аресты явились грознымъ предзнаменованіемъ и для насъ. Мы стали зорко слѣдить за собою. Обсудивъ дѣло, рѣшаемъ, что необходимо совершенно отгородиться и отъ эсдѣковской квартиры и отъ Арсенія. Возможно, что полиція не тронула ихъ нарочно, чтобы по нимъ выслѣдить и другихъ. Къ тому же Арсеній былъ намъ уже и раньше не симпатиченъ, да и осторожнымъ его нельзя считать. Мы знаемъ, напримѣръ, что у него однажды случайно натолкнулись на полный списокъ всѣхъ представителей военныхъ частей, и эсдѣковскихъ и нашихъ, съ имѣнами, фамилями, партійными кличками и т. д. Благо случившійся тутъ Комовъ сейчасъ же забралъ этотъ списокъ и уничтожилъ, а Арсенію за такую неосторожность его товарищи задали хорошую головомойку.

И все-таки, несмотря на всѣ принятая мѣры предосторожности, намъ кажется, что мы висимъ на волоскѣ. Тяжело на душѣ. Хочется не то кого-то проклинать, не то кому-то жаловаться, не то молиться. Но смотришь вокругъ, на другихъ,—и становится стыдно своей слабости. Всѣ серьозны, сосредоточены, суровы,—но и только. У Никиты между бровей залегла глубокая складка. Дмитрій по прежнему старается шутками разгладить морщины на нашихъ лицахъ. Калмаковъ сталъ еще молчаливѣе,—и только разъ вымолвилъ: Насъ возьмутъ—другое встанутъ, а все же своего добьемся! Сорокинъ,—этотъ еще проще ко всему относится съ него все, какъ съ гуся вода! Прое-

велъ ладонью по стриженои нескладной головѣ,—да только и молвиль: «Дѣйствовать! Впередъ наступать! Ага! Засуетились! Стало быть,—вали гуще!»

Я выхожу изъ дому, оглядѣвшись, не слѣдя за квартирой. Какъ будто ничего подозрительного незамѣтно. Побывала кое-гдѣ, — все благополучно. Вдругъ слышу — какъ будто меня окликаютъ. Оглядываюсь, — какая-то фигура чуть не бѣгомъ катитъ на меня, и руками мнѣ машетъ, и кричитъ что-то, а полы пальто такъ и развѣваются по воздуху. Это еще что за росомаха такая! Подходитъ ближе,—ба! Да это Арсеній!

Итакъ, напрасно мы его избѣгали, напрасно такъ тщательно скрывали отъ него свои адреса! Вотъ онъ! А слѣдомъ за нимъ, быть-можеть, цѣля свора полицейскихъ ищеекъ...

— Зачѣмъ вы кричите? — рѣзко обрываю я его: — Зачѣмъ подходите на улицѣ? Что за непозволительная неосторожность! Да пустите же, уходите, я не хочу...

А онъ не внимаетъ, вѣпѣлся въ мою руку, трясеть ее и, запыхавшись, бормочеть:

— Ага, попались наконецъ!... А я-то вездѣ искалъ вашихъ, никакъ найти не могъ... Неосторожность? Сами виноваты! Почему адресовъ не даете? Вотъ и приходится останавливать на улицѣ... Вы далеко живете? Можетъ быть къ вамъ зайти, чтобы не на улицѣ? Повидаться надо, столько дѣлъ... Хотя бы вотъ: наши, уѣзжая, сколькоувасъ заняли? Могу хоть сейчасъ же вернуть...

У меня на душѣ шевелятся самыя худшія подозрѣнія. Лицо у него бѣлобрысое, растяпистое, глаза водянистые, какіе-то раскосые, бѣгающіе, взглядъ — то боязливый, то скрыто радостный. Весь его неувѣренный и вмѣстѣ съ тѣмъ развязно ратрапанный видъ, громкая, обращающая на себя вниманіе рѣчъ, смѣющійся на солнцѣ цѣлый вѣръ разноцвѣтныхъ ассигнацій, — ужъ не вздумалъ ли прельстить насъ деньгами? — все это рядомъ съ моимъ костюмомъ, съ моимъ вылѣзающимъ изъ башмака пальцемъ, — ансамбль хоть куда!

Съ трудомъ отдѣлываюсь отъ него. Тревога въ душѣ растетъ. Стоило одному винтику повернуться не въ ту сторону, — все такъ и идетъ вкрай да вкось. Словно раскрылась гдѣ-то тамъ, въ глубинѣ организма, опасная ранка, — и вотъ ждешь съ часу на часъ рокового внутренняго кровоизліянія.

Недаромъ сжималось мое сердце-вѣщунъ, когда меня поймалъ на улицѣ Арсеній. Все больше и большѣ подозрѣній скопляется противъ него. А онъ той порою не будь плохъ, — улетучивается, — неизвѣстно куда.

Черезъ нѣсколько дней получаемъ изъ охранки добытую какими-то судьбами копію списка, того самого списка, который Арсеній неосторожно держалъ у себя на столѣ, и который у него нашли и уничтожили. Видимо, Арсеній потомъ возстановилъ его по памяти.

Каждый набрасывается на списокъ и, найдя тамъ свою фамилію, отходитъ возбужденный, словно даже радостный. Всѣ какіе-то вздернутые, подстегнутые. Мы танцуемъ на вулканѣ. Но какъ же быть? Не бросать же работу? Не прекращать же всего?

А тутъ въ довершеніе всего доходятъ возбуждающія вѣсточки отъ ушедшихъ судовъ. Готовится къ плаванію и артиллерійскій отрядъ. Матросы, какъ всегда передъ отправкою, волнуются. Опять прежнее напряженіе и тревога, опять борьба болѣе благоразумныхъ съ экспансивными. Наша работа становится все лихорадочнѣе и лихорадочнѣе.

— Все равно пропадать! Такъ ужъ по крайности напослѣдки наработаемся вволю! — говорятъ одни.

— Вотъ горе! — жалуются другіе: — Всего только съ мѣсяцъ прожили новой жизнью. Эхма! Мало! И о чёмъ раньше думали?

Сорокинъ не унываетъ:

— Знаете, что у насъ Калмаковъ-то придумалъ! — разсказываетъ онъ. — На ночь стать нась къ себѣ въ канцелярію пускатъ! Туда ужъ никто не придетъ, если и хватятся нась арестовывать.

— На чёмъ же вы тамъ спите?

— Да мы развѣ спимъ! — обижается Сорокинъ. — Мы планы составляемъ... обсуждаемъ. Калмаковъ говоритъ: — «Теперь нась въ скорости заберуть, другимъ нужно все въ порядкѣ оставить, и планъ скорѣе кончать». Ну, и другое все обтолковываемъ... А только я полагаю, что не заберутъ нась!

— Что? Кого не заберутъ?

— Да нась, тѣхъ, что въ списокъ попали.

— Не заберутъ? Имъя списокъ въ рукакъ, не заберутъ?

— И списокъ имѣютъ, — и не заберутъ. Вотъ увидите! Опасно это имъ.

Очевидный вздоръ несетъ, но тонъ увѣренный, — и помимо воли подчиняешься ему.

— Сидимъ это мы, — съ увлеченіемъ разсказываетъ Сорокинъ: — въ канцеляріи, среди ночи, за столомъ. Столъ

краснымъ сукномъ накрытъ, кисти золотыя болтаются, все честь-честью. И сидимъ мы на судейскихъ мѣстахъ. А по стѣнамъ-то шкафы, а въ нихъ дѣла судейскія, протоколы всякие да акты обвинительные. Тутъ, можетъ, кото-рый за служебную повинность судился, а теперь самъ засѣдаетъ на мѣстѣ предсѣдателя и сужденіе имѣеть, что съ офицерами во время возстанія учинять!

Вваливается въ комнату Недотрогинъ, встревоженный.

— Меня какой-то человѣкъ на лѣстницѣ остановилъ. Куда, говорить? — «Къ Сидоровой, отвѣчаю, къ женщинѣ одной». — А въ который, говорить, номеръ? — Сказалъ вашъ, двадцатый.

— А какой онъ изъ себя, этотъ человѣкъ?

— Невысокий, въ коричневой шляпѣ, усыки махонькіе.

— Я утромъ у насъ такого на дворѣ видѣла, съ двор-никомъ разговариваль, — замѣчаетъ Настя.

Всѣ встревожены. Черезъ минуту приходитъ Смирновъ. Мы къ нему:

— Человѣка видѣли на лѣстницѣ?

— Да, а что?

— Какъ «что»? Какой изъ себя?

— А, этотъ, съ которымъ я разговариваль? — и, видя наше недоумѣніе, поясняетъ: — Онъ меня спрашивалъ, куда я иду.

— Ну, ну?

— Я сказалъ, что въ 20-й. А въ чемъ дѣло?

— А что онъ еще спрашивалъ?

— Да онъ много что-то говорилъ: къ кому, гово-ритъ? — Ну, говорю, къ кому? Къ дружку своему, къ Тро-фимову.

Ну конспираторы! Указываютъ прямехонько нашу квартиру да еще придумываютъ разныя чужія имена! Чѣмъ легче навлечь подозрѣнія? Вѣдь это значитъ прямо сказать, что тутъ живутъ молодцы, которыхъ прозываютъ «лѣтомъ Филаретомъ, а зимой Кузьмой!»

Всѣхъ моментально выпроваживаемъ во-свои.

Черезъ два-три дня — новая тревога. У насъ сидитъ пріѣзжій, военный работникъ изъ Петергофа. Рассказываетъ, какъ растетъ и ширится работа среди солдатъ царской охраны, среди гусаръ, которые послѣ Питерского собранія бредятъ Кронштадтомъ и обязательно просятъ позволенія пріѣхать къ намъ въ гости. Вдругъ стукъ въ дверь. Отворяю — дворникъ.

— Здорово, молодушки! — начинаетъ онъ будто въ обычномъ своемъ тонѣ, — страшно чутко вслушиваюсь въ интонацію его голоса. Шагаетъ, какъ всегда, по направленію къ комнатѣ, но, завидѣвъ тамъ, рядомъ съ Настей, нашего гостя, останавливается, словно искрой пронизанный. Вижу, какъ передергивается его лицо. Сердце у меня начинаетъ колотиться быстро-быстро, кровь приливаетъ къ щекамъ. Онъ взглядываетъ на меня. На лбу злая морщина.

— А я вотъ на счетъ документиковъ! — неестественно громкимъ и непривычно грубымъ голосомъ заявляетъ онъ: — Мужъ-атъ, ѳдетъ что ли вашъ?

— Я же вамъ сказывала, родитель его при смерти. Кто, кромѣ Бога, можетъ знать, когда онъ его приберетъ? — неувѣреннымъ голосомъ, тихо говорю я.

— Та-ак-съ. Сыхали мы это. А фатеркѣ какъ же, безъ прописки что ли оставаться по причинѣ вашего родителя?

— Да хоть сейчасъ на меня пишите, коли не хотите ждать, ваше дѣло.

— На васъ, значить?

— Какъ ваша воля будетъ. Хотите — мужа ждите, хотите — на меня пишите.

Помолчалъ.

— Ну, а мужъ-атъ, когда пріѣдетъ, онъ, стало-быть, какъ будетъ?

— Что жъ мужъ? Мужъ, стало-быть, будетъ при женѣ, все въ исправности! — неуклюже, все еще не поборовъ смущенія, шучу я.

— У людей жена при мужѣ, а у васъ, видно, наобо-роту, не по-людски!

Взглядываетъ на меня неприкрыто враждебнымъ взгля-домъ, окидываетъ изподлобья комнату съ Настей и при-смирѣвшимъ гостемъ и, не прощаюсь, уходитъ, дернувъ дверью.

На слѣдующій день Настя, вернувшись съ базара, жалуется, что дворникъ на нее накричалъ: «Зачѣмъ, гово-ритъ, къ вамъ толпами солдаты и матросы ходятъ?» Настя приняла видъ оскорблennой невинности и тоже накри-чала на него.

Необходимо что-то предпринять. Но что? Собственно говоря, выходъ одинъ: уѣхать съ квартиры и перемѣнить паспорта. Но какъ переѣхать, не приведя за собою шпионовъ? Бросить всѣ вещи и обзаводиться всѣмъ заново? И это при нашемъ безденежьи? Да и какъ знать, насколько велика опасность? И съ какой стороны она намъ угрожаетъ?

Съ энергией отчаянія рѣшаю перейти въ наступленіе: пойти объясниться съ дворникомъ.

— Что это вы сестру мою передъ всѣмъ дворомъ порочите?—наступаю я на него, не давая ему опомниться:—Думаете, беззащитная дѣвушка, такъ и можно? Ужо, прѣдѣтъ мужъ, онъ вамъ покажетъ, онъ найдетъ на всѣхъ управу!

Напряженныя нервы толкаютъ меня говорить дальше и дальше, голосъ дрожитъ отъ возмущенія, непрѣтворныя слезы въ немъ.

— У самихъ порядку ни какого! Какъ праздникъ, такъ и начинается шлянданье: все приходятъ, какую-то Сидорову спрашиваютъ, а то еще Трофимова. Проживали что ли тутъ такие? Отбою нѣтъ, хоть двери не открывай!

Дворникъ, прижатый къ стѣнѣ, стоитъ, заложивъ руки подъ фартукъ, смущенный, робкій, на Настю жалобно посматриваетъ.

— Что взъѣдаетесь-то, молодушки? Чего лаетесь зря?—Такъ странно слышать, вмѣсто ожидавшихся грубостей, его тихій, покорный голосъ послѣ моей крикливой, негодующей шумихи:— Да мнѣ-то что? Ахъ ты, прости Господи! Да по мнѣ хотѣ весь полкъ соберите! Право! Лишь бы скандаловъ не было. Жильцы вотъ жалобятся... А я... да ни въ жистъ...

Приходятъ наши мушки. Никита былъ въ полиції и слышалъ тамъ, какъ приставъ наставлялъ нашего дворника.

— Ты слѣди за ними хорошенъко, про мужа все вывѣдай. Безпремѣнно онъ должны быть особы по... Тебѣ чего?— вскинулся онъ, замѣтивъ Никиту. Такъ тому и не пришлось дослушать конца фразы.

И вотъ мы сидимъ, унылые и измученные, выясняемъ свое положеніе и ломаемъ голову надъ таинственнымъ слогомъ «п о».

Конечно, насы считаютъ политическими. Ясно. И шпики на лѣстницѣ и слѣжка со стороны дворника. Какія же могутъ быть еще сомнѣнія!

— Подождите! Больно вы скорая на заключенія!— вѣско и степенно возражаетъ Никита.—Тутъ въ Кронштадтѣ есть и другіе сыщики—проститутокъ выслѣдываютъ. Дома терпимости вѣдь закрыты. Ищутъ тайныхъ проститутокъ. Одинъ городъ на это 30.000 рублей расходуетъ.

Проститутокъ ищутъ!.. Слова Никиты вдругъ, какъ яркій снопъ свѣта, освѣщаютъ намъ много такого, что раньше проскальзывало мимо вниманія или казалось случайнымъ. Мнѣ вспоминается, какъ измѣнился въ лицѣ дворникъ, увидѣвъ Настю съ нашимъ гостемъ...

— За мной приказчикъ изъ трактира сталъ вдругъ ухаживать!— замѣчаетъ со своего всегдашняго мѣста на постели Настя.

А развѣ не было за послѣдніе дни и у меня разныхъ сценокъ! Мало ихъ замѣчала за сутолокою и треволненіями, а теперь онѣ всплывають одна за другой, оживая и расцвѣчиваясь и яркими образами впиваясь въ мозгъ...

...Я у сапожника на нашемъ дворѣ. Сколько я ни мутилась съ разорвавшимся башмакомъ, какъ ни чинила его, но свободолюбивый палецъ, преодолѣвая всѣ преграды, упорно выбивался на свѣтъ божій. Истошились наконецъ мое терпѣніе и моя изобрѣтательность, и я рѣшилась на крайнее въ моемъ положеніи средство: пойти къ сапожнику. Это значило, что на нѣсколько часовъ, а то и на цѣлыхъ полдня, я лишена буду свободы передвиженія.

— Заплаточку вотъ тутъ положить бы. Сколько это будетъ стоить? Да пожалуйста какъ бы поскорѣе. Можно часа черезъ два?

— Сколько же съ тебя взять-то?—цѣдитъ сапожникъ, оглядавня снятый башмакъ. И вдругъ, бросивъ его на скамейку, рѣшительно отрубаетъ:

— Два рубля! Меньше нельзя!

— Два рубля!—пячусь я въ ужасѣ:—Да что ты, въ умѣли? Новые три стоили. А мнѣ только здѣсь, всего только этакую заплаточку! Съ барѣбы запрашиваль, а то съ своего брата вздумалъ! Да есть ли крестъ на тебѣ?

— Что за дорого? Даже нѣсколько. Даже въ самый разъ!—говорить онъ съ удареніемъ.

— Да гдѣ же и денежкамъ водиться, какъ не у васъ!— не утерпѣвъ, вставляетъ его худая жена. Кормить ребенка въ люлькѣ, а сама поглядываетъ на меня изподлобья, злыми, завистливыми глазами.—Чай, легко достаются!.

Или вотъ еще сцена.

Я въ мелочной лавочкѣ, что напротивъ. Нашъ дворникъ, какъ-то особенно ухмыляясь, съ подчеркнутой фамильярностью протягиваетъ мнѣ руку, и, вижу, кому-то показываетъ на меня глазами. Оглядываюсь,—и ловлю на себѣ животный, похотливый взглядъ маленькаго жирнаго человѣка съ заплывшими кошачими глазами. Лавочница потомъ объяснила, что это былъ нашъ хозяинъ.

И вотъ теперь, при мысли, что этотъ человѣкъ живетъ тутъ гдѣ-то совсѣмъ близко-близко отъ насъ, считаетъ насы «гуляющими» и, можетъ быть, прикидываетъ въ умѣ, какъ бы воспользоваться случаемъ,—меня охватываетъ холодный ужасъ, мнѣ начинаетъ казаться, что комната наполняется скользкими холодными гадами... Все ближе и ближе они... Уже охватываютъ меня и, какъ спрутъ, крѣпко держатъ въ своихъ объятіяхъ. Все внутри у меня кричитъ отъ ужаса, съ бѣшенной силой я стараюсь вырваться изъ скользкихъ объятій на волю, на свѣжій воздухъ.

Но какъ же быть, какъ же быть? Я пробую доказать товарищамъ, что имъ немедленно нужно удалиться и на время прервать съ нами всякия сношения: вдругъ за нами слѣдятъ, какъ за политическими?

— Чтобы изъ-за насъ арестовали всю организацію? Нѣтъ, уходите, уходите! Вы не имѣете права рисковать!

— Ну, нѣтъ, нельзя васъ оставлять однѣхъ!—возвращается Никита.

— Какъ видится, дурная молва о васъ уже широко пошла. Того гляди, могутъ ворваться какіе-нибудь гуляки... А не то, тотъ же самый хозяинъ... А тогда бѣда! Онъ, коли разозлится, можетъ напустить на васъ и дворника и городовыхъ!...

«Настя!»—молнией мелькнуло въ моей головѣ. И вся моя геройская рѣшимость покидаетъ меня. О, если бы можно было сейчасъ же черезъ море перекинуть Настю въ безопасное мѣсто!

— Который часъ, товарищи?

— Скоро 12.

Ушелъ, значитъ, послѣдній пароходъ.

Взглядываю я на Настю, а она повернулась къ стѣнѣ лицомъ и дышитъ ровно, спокойно... Заснула!... Золотистые кудри раскидались по ея дѣтскому, совсѣмъ еще дѣтскому лицу, раскраснѣлась вся, губы улыбаются... Видно, что-то хорошее-хорошее снится ей. Снится, быть-можетъ, что выплывала на лодкѣ на середину широкой родной Волги, залюбовалась просторомъ, повернула къ смѣющемуся солнцу счастливое лицо,—и замерла въ сладостной истомѣ. Грезы ея далеко отъ черныхъ ужасовъ, которыми грозить ей дѣйствительность. Грозитъ... по моей винѣ!

Тупой, ноющей болью сжимается сердце. Тихонько накрываютъ Настю шалью. Среди наставшей тишины въ квартирѣ подъ нами четко отбиваются свой тактъ стѣнныя часы.

— А въ полицію ее не могутъ потащить... освидѣтельствовать что ли?

Мелкая дрожь трясеть все мое тѣло. Съ мольбой смотрю на Никиту, словно отъ него зависить предохранить Настю отъ несчастія. Онъ знаетъ жизнь, знаетъ всѣ житейскіе распорядки, вѣдь обычай. А мы тутъ, какъ младенцы.

— Я узнавалъ про это,—говорить онъ еще тише,—и съ докторомъ изъ либераловъ совѣтовался. Потащить женшину свидѣтельствовать могутъ только послѣ того, какъ поліція застанетъ ее на мѣстѣ преступленія. Для этого-то, можетъ, шпики и высматриваютъ,—кидаетъ онъ слово за словомъ, глухо и уставившись въ землю.

Дмитрій словно угадываетъ мои мысли.

— Я думаю, ей на время уѣхать нужно. Оставаться здѣсь ей此刻 нельзя. Да и вообще, домой бы ей, на отдыхъ. Очень ужъ она извелась. А вѣдь легкія-то у нея далеко не въ порядкѣ.

Возраженій нѣтъ, да и быть не можетъ.

Ночь проходитъ спокойно. На завтра, сверхъ ожиданія, Настя встрѣчаетъ вѣсть о своей «высылкѣ изъ Кронштадта» довольно спокойно. Видно сама сознаетъ, какъ подточены ея силы. Уѣзжаетъ грустная, молчаливая, съ осунувшимся лицомъ.

А мы? Какъ мы ее провожаемъ? Больно подумать: никакъ. Какъ разъ въ этотъ день прїѣзжаютъ гости изъ Петербурга: нѣсколько ораторовъ, а съ ними—американецъ, изучающій Россію и русскую революцію. Ему захотѣлось взглянуть на насъ и на нашъ бытъ, даже, кажется, интервьюировать насъ. Странно видѣть въ нашей обстановкѣ его безукоризненные, бѣлоснѣжные манжеты, его золотое пенснѣ, всю его корректную, изящную и строгую фигуру, нагибающуюся, чтобы не хватиться лбомъ о низкую притолоку. Навѣрно, такъ же странна и для него вся наша квартира, наше несложное хозяйство, нашъ внѣшній видъ. Должно-быть, какъ на странныхъ, заморскихъ звѣрей, глядить онъ на насъ, хотя этого и не видно на его каменно-спокойномъ лицѣ.

Я разрываюсь на части: что-то невпопадъ отвѣчаю на вопросы переводчика, хлопочу, какъ накормить прїѣзжихъ, и тутъ же въ суматохѣ помогаю собираться Настѣ.

Какъ никогда, чувствуя я въ этотъ моментъ, до какого сухого аскетизма доводить насъ «дѣло». Какая вынужденная суровость, какая черствость! Вотъ около мѣсяца прожила съ нами Настя. А развѣ мы хоть разъ заглянули поближе во внутренній міръ другъ друга? Развѣ было у насъ время поговорить «по душамъ»? О, да, мы жалѣли и цѣнили её, мы любовались ею, всегда выдержанной, мягкой, свѣтящейся тихимъ внутреннимъ свѣтомъ. Но обогрѣли ли мы ее душевнымъ тепломъ? Нашли ли слова, которыя снимаютъ перегородки между душами? Знаемъ ли мы, съ чѣмъ она прїѣхала, и съ чѣмъ уѣзжаетъ? Нѣтъ! Мы, какъ будто боясь оторвать часть силь на что-то постороннее «дѣлу», были суки, были замкнуты въ отношеніяхъ къ Настѣ.

Что это? Узость душевная? Элементарность? Однобокость фанатиковъ?

Не знаю... Знаю лишь, что всеми силами души рвусь
вслѣдъ за Настей: что-то дѣлаю, о чёмъ-то говорю, — но
мысли мои далеко, съ нею,

И все-таки... Какъ легче стало на душѣ съ ея отъ-
ѣздомъ.

Иду на собраніе, забравъ съ собой только что приве-
зеннную литературу. Рисковано это, конечно, но соблазнъ
слишкомъ великъ: сразу все расхватаютъ и сегодня же
разнесутъ по воинскимъ частямъ.

Спускаюсь съ корзинкой по лѣстницѣ, сверху въ ней
лучокъ, картошка торчитъ, все какъ слѣдуетъ. На встрѣчу
дворникъ.

— А Настя гдѣ? Что ея не видать?
— Нѣту ея! — отрѣзаю сердито. — Въ Питерѣ она.
— Въ отъѣздѣ, стало-быть... А когда воротится?
— Да не воротится!
— Не воротится! Какъ это такъ? Почему?

— Почему! Самъ накричалъ, напугаль, а теперь —
«почему»! Она къ этому у насть не привычна. Съ испугу-то,
какъ съ малымъ дитемъ, родимчикъ бываетъ. Вотъ и
теперь что-то попрітилось,— намучилась я съ ней... въ
больницу ужъ свезла.

— Въ больницу! Ахъ ты, Господи! Въ какую боль-
ницу-то? Я съѣзжу!.. Я скажу!.. Не хотѣль я... видитъ Богъ,
не хотѣль... Да что же это такое! Зачѣмъ же на меня-то?
Вотъ истинный крестъ, я отъ души!

— Отъ души, а однако въ больницу пришлось свезти!
— Право, я съѣздилъ бы!
— Еще чего! Еще пуще прежняго напугать?

Хочу пройти, а онъ вѣпился въ корзину, не пуска-
етъ. Смотритъ молящими глазами. Будто не фальшивить.
Какъ-то въ минуту откровенности рассказалъ онъ про
свою жизнь: мало добра видѣль отъ людей, а обмана и
жестокости — сколько угодно. Жена его покинула, тутъ и
совсѣмъ горе крышкой его прихлопнуло: запиль, махнулъ
на все рукой и жиль послѣдніе годы угрюмымъ мизантро-
помъ. Съ нашимъ прѣѣздомъ онъ какъ-то сразу посвѣт-
помъ. Почемъ знать? Можетъ, Настя, такая простая и
лѣль. Почемъ знать? Можетъ, Настя, такая простая и
ласковая, такая непривычно высокая и чистая,— глубоко
запала въ его душу,— то и тянется къ ней... А можетъ, и
другое? Кто его знаетъ!

Кое-какъ отдѣляюсь отъ него и, изо всѣхъ силь-
напрягая мышцы, чтобы не показать виду, что несу тяжесть,
съ трудомъ ковыляю по улицамъ.

На сердцѣ тяжело. И Насти нѣть: подбодрила бы.
Нервы взвинчены тревогой и потрясеніями послѣдніхъ
дней, да и не досыпаю постоянно. Все кругомъ кажется
полнымъ опасностей. И квартиру насиженную придется,
видно, бросить, и вся организація наша у начальства теперь,
какъ на ладони, и въ газеты заглянешь, — грозой пахнетъ,
арѣтъ кризисъ... И солнце палитъ такъ нещадно... И возь-
сь желѣзомъ, рѣзко и громко дребезжа, ударяетъ поло-
сами по мостовой, словно молоткомъ стукаетъ по головѣ...

Наконецъ добираюсь до мѣста собранія. Около дома
ходять наши патрули. Слѣжки за мною нѣть. Вхожу,
раскладывая литературу по кучкамъ. Кое-кто изъ нашихъ
уже тутъ. Хохоленко, невысокий, плотный хохоль-матросъ,
рассказываетъ Дмитрій, какъ будто въ чёмъ-то оправды-
ваясь:

— А қолы жъ воны менэ слухаты нэ хочутъ!.. Кажуть:
— Поки усі вкупи, тутъ и починатъ. Нэ хочемъ у пла-
ваніе... Я имъ кажу: центръ нэ втвреждае выступленія. А
воны на менэ лающца: — Якъ выдно, кажуть, докладъ нэ
гарно робышь, нэ вміешь ристолкуваты, що къ чому.

Я даже не дивлюсь ни этимъ новымъ осложненіямъ,
ни тому, что Хохоленко, всегда выдержаный, теперь какъ
будто самъ поддается нетерпѣливымъ порывамъ матросовъ.
Теперь все должно рваться и соскакивать съ рельсовъ, все
должно пойти прахомъ.

Дмитрій упрекаетъ Хохоленко, а тотъ стоитъ передъ
нимъ, трогательный, грустный, куда-то внизъ скосивъ глаза.
Въ душѣ у него, видимо, борьба, на лицѣ мучительная
складка.

— А я що жъ тутъ можу? Я свое, а воны тожъ свое...

Разговоръ длится еще, неровно, дерганно, въ такомъ же
духѣ. Какъ вдругъ тревожный голосъ: «Полиція! Полиція!»

Кто-то стучитъ и ломится изъ коридора. Дмитрій,
не разобравъ дѣла, кидается туда и не пускаеть. Я дрожа-
щими руками заталкиваю принесенную литературу обратно
въ корзину. Слышу, какъ солдатъ енисеецъ, по прозвищу
«Панъ», полякъ родомъ, повелительно и зло кричить
Дмитрію: «Маце (имѣете) браунингъ? На ласку Боску
(ради Бога) дайце мнѣ браунингъ!» Я выскакиваю заднимъ
ходомъ, мечусь съ корзиной, не зная, куда дѣваться, про-
бираюсь на чердакъ и, найдя тамъ большую кадку, бросаю

всю корзину туда. Сбъгаю обратно. Дмитрий кричить на меня: «Да уходите же, уходите скорѣй! Илью Семеновича, — (хозяинъ квартиры, гдѣ мы собрались) — только что околодочный въ полицію повель, сейчас сюда явятся съ обыскомъ!»

Спускаюсь внизъ. Но вѣдь на верху могутъ все найти! Что я надѣлала! Бѣгу къ хозяйкѣ. «Есть огонь въ кухнѣ?» — «Есть, есть!» Бѣгу опять наверхъ, ташу корзину, подношу все добро къ огню... И вдругъ сердце сжимается невыразимой болью. Чистенькие, гладкіе, еще пахнущія типографской краской, совсѣмъ свѣжіе листки... Передъ глазами ярко-ярко встаетъ весь трудъ, вложенный въ то, чтобы все это составить, напечатать, провезти...

— Да жгите же! Жгите! — кричить хозяйка, и кидаетъ въ огонь нѣсколько штукъ. Огненные языки лизнули бумагу... Я быстро выпрямляюсь и рѣзко отстраняю бѣлуруку хозяйки... это такое святотатство!

— Давайте мнѣ, я спрячу! — теребить меня какая-то незнакомая мнѣ женщина. Я гляжу на нее... Ея уже немолодое лицо мнѣ почему-то кажется непріятнымъ.

— Вѣрно, дайте ей, она здѣшняя! Она знаетъ, гдѣ спрятать! — говорить мнѣ хозяйка.

Женщина забираетъ и уносить мое сокровище. Вдругъ я вижу, у лѣстницы что-то бѣлѣеть. Наклоняюсь: пачка оброненной мною литературы! Въ ужасѣ отъ своего ротозѣйства, бѣгу снова на чердакъ. Такъ и есть: часть книжекъ провалилась на дно кадки и плаваетъ тамъ въ капустномъ разсолѣ. А кадка въ ростъ человѣка. Продѣлавъ рядъ гимнастическихъ упражненій, я извлекаю-таки изъ нея изрядное количество оскизлыхъ, пожелтѣвшихъ, страшновонючихъ листковъ. Куда мнѣ теперь съ ними? Скидаю нижнюю юбку, завертываю въ нее мокрые листки и выбираюсь задами на улицу. Наши патрули стоять дозоромъ на углахъ, отсылая назадъ представителей, идущихъ на собраніе.

Наконецъ я дома. Тамъ уже Дмитрий и Костя. Разсказываю имъ про корзину. И вдругъ Костя тревожно говоритъ: «Ахъ, эта женщина! Она такая странная! Мнѣ всегда казалось, что она въ охранкѣ служить!»

Господи! Еще этого не доставало! Неужели я сама, сама дала въ руки полиціи улики противъ Ильи Семеновича? Почему его взяли въ полицію? Ясно, что это мы его провалили. А человѣкъ на службѣ, семейный, да еще содержитъ старуху мать. Изрѣдка давалъ намъ свою квартиру для собраній, — и вотъ...

Бѣгу выручать литературу. Взявшей ее женщины нѣтъ дома. Я уже рѣшаю, что она, конечно, побѣжала въ полицію. Точно загипнотизированная мыслью, что надо добыть литературу обратно во что бы то ни стало, я мечусь по городу и ставлю на ноги всѣхъ, кого можно. Наконецъ, къ вечеру все уложено. Злополучная корзина въ безопаснѣмъ мѣстѣ.

Узнаю, что на квартирѣ Кости тоже была сегодня какая-то тревога. И это, конечно, не даромъ. Бѣда надвигается на насъ со всѣхъ сторонъ. Конецъ свѣтлымъ, безмятежнымъ днѣмъ!

Выпроваживаю всѣхъ изъ квартиры быстро, по-военному, не давая имъ начать опять разговоръ объ опасности вторженія ко мнѣ какихъ-нибудь ночныхъ гулякъ. Я боюсь этихъ мыслей, боюсь, какъ бы онѣ не расшевелили притаившагося въ углу души страха. И безъ того нервная дрожь, нѣтъ-нѣтъ, да и проползетъ непріятной судорогой по спинѣ...

И вотъ я одна. Гдѣ-то далеко чернѣеть море съ темными силуэтами кораблей. Сѣроватая, какая-то безразличная ночь повисла сухо и равнодушно,—ни темно ни свѣтло. Вспоминаю усталое лицо Дмитрия; такое безжизненное; что-то сѣреющее, какъ и въ природѣ, отразилось въ его глазахъ, сдѣлало ихъ блѣдоватыми; неживыми...

Оглядываясь кругомъ. Стали было мы складываться, разложили на полу одѣяло, свалили на него всѣ свои пожитки, но связать не успѣли. Въ углу одиноко торчатъ доски изъ-подъ предполагавшихся кроватей. Голые стѣны, подслѣповатая оконца... Такая опустошенность, такая оброшенность!

Вдругъ стемнѣло. Видно луна зашла за тучу. Изъ угловъ потянуло сырьемъ холода. По стѣнамъ отъ фонарей колышатся прихотливыя тѣни, капризныя и насыщенные. Точно маленький молоточекъ, равномѣрно и отчетливо стучитъ кровь въ вискахъ. Цѣпляясь одна за другую, плывутъ обрывки мыслей. Кажется, будто кто-то стоитъ за дверью и тихонько стучится или за скобку дергаетъ, пробуетъ, крѣпко ли.

Зарываюсь въ грудь тряпья, прикрывшись не то пальтомъ, не то пальтомъ. Сѣрый туманъ пронизываетъ мозгъ. Передъ глазами смѣющіяся рожи, гримасы. Вонъ толстое лицо хозяина выплыло изъ мрака; заплывшіе глазки, ротъ кривится въ похотливую улыбку. Стучать? Нѣтъ, это сердце вдругъ забилось. Стѣны словно заходили... Шорохъ, шаги на лѣстницѣ... все ближе... скрипятъ деревянные половицы... Конечно, это хозяинъ! Узналь отъ дворника, что всѣ наши ушли. Не даромъ въ лавочкѣ перемигивались.

Пробую взять себя въ руки и спокойно обдумать свое положеніе. Что мнѣ дѣлать? И дѣйствительно ли мнѣ грозить опасность?... Но нѣтъ: «Бѣжать! Бѣжать!»—кричить все мое существо. Нѣтъ мѣста разсужденію, одно мучительное ощущеніе охватило все тѣло. Только гдѣ-то въ глубинѣ, совѣсть ли, гордость ли, отзыается слабо: «Стыдно трусить, революціонерка!»

И вдругъ мною овладѣваетъ полная увѣренность, что сейчасъ здѣсь долженъ быть хозяинъ. Не опасеніе, не страхъ безформенный, а твердая, окрѣпшая увѣренность. Дрожащіе, непослушные пальцы завязываютъ шаль вокругъ головы, съ какой-то судорожной дрожью раскрываются дверь. Скорѣй, скорѣй! Дорога каждая минута. Какъ лунатикъ, спускаюсь съ лѣстницы. Остается пересѣчь маленький дворикъ. Кто-то съ улицы раскрываетъ калитку, нагибается подъ цѣпочкой, идетъ мнѣ на встрѣчу. Луна показывается изъ-за тучи... Какъ распущенная пружина, отпрыгиваю назадъ. Не призрачный, а настоящій хозяинъ останавливается передо мною... и вдругъ, улыбаясь и разставивъ руки, направляется къ мнѣ. Какъ безумная, бросясь къ калиткѣ, проскальзываю въ нее подъ цѣпочкой. А онъ, толстый, неповоротливый, слышу, застряль и кричитъ мнѣ что-то вслѣдъ.

На улицахъ тихо и свѣтло отъ луны. Пусто и сонно въ городѣ. Кучки городовыхъ на углахъ. Завертываю заодинъ уголъ, за другой. Бьется, колотится сердце въ груди.

Тихо, тихо. Откуда-то вдругъ потянетъ холдкомъ, сиренью или яблочнымъ цвѣтомъ и душистой землей.

Куда, собственно говоря, я бѣгу? Бульвары заперты. Прохожихъ ни души. Встрѣтился ночной патруль, посмотрѣли на меня, — ничего не сказали. Но если еще разъ встрѣтяться, могутъ и остановить. Куда же мнѣ дѣваться?

И вдругъ обрадовалась: къ Никитѣ пойду! Сяду на стулъ, положу на столъ голову. Какое счастье, какой великолѣпный пріютъ!

Подхожу... Но большой, заржавленный замокъ на его двери смотритъ на меня чернѣющей скважиной и словно заявляетъ: нѣту хозяина, чего смотришь? проваливай дальше!

Но куда же мнѣ «проваливать»?

«Все образуется», «Три къ носу!», «Все Богъ да малыя боженята!»—запестрѣли вдругъ въ мозгу присказки нашихъ матросовъ. Словно собрались они сейчасъ поутѣшить, посмѣшить меня. Да мнѣ и въ самомъ дѣлѣ вдругъ стало легче. Э-эхъ! Да и въ самомъ дѣлѣ, можетъ-быть, «все образуется»!

Иду по городу да по сторонамъ поглядываю. «Чему быть, тому не миновать!» «Двухъ смертей не бываетъ!» «Дальше Сибири не сошлютъ, глубже земли не закопаютъ!»... Конечно, не хорошо, что въ русскомъ человѣкѣ такъ много

фатализма, но порой, право, необходимо немногого заиться этой успокоительной философіей.

А вотъ и квартира арестованного Ильи. Въ его комнатѣ свѣтъ. Не обыскъ ли? Неудержимо тянетъ ближе къ дому, къ окнамъ. Не услышу ли хоть обрывки полицейскихъ разговоровъ?... Вотъ и ворота. Изъ кухни доносится запахъ жаренаго, звонъ посуды и веселый хохотъ. Дверь на лѣстницу настежь. Что все это значитъ? Я стою, полная изумленія. Вдругъ... голосъ словно знакомый? Передо мною самъ Илья Семеновичъ. Жметъ руки:

— Какими это судьбами вы здѣсь? ночью? Случилось что-нибудь? Ну, идемте!

— А какъ же? А обыскъ? Вѣдь вы арестованы?—боромочу я растерянно, боясь вѣрить своимъ глазамъ.

— Глупости! Бабы сплетни! Интрига какая-то! Вызвали меня въ полицію. Приставъ знакомый, показалъ доносъ на меня, всякая чепуха тамъ...

— Ну, и что же?

— Да ничего! Погрозилъ пальцемъ и опустилъ съ миромъ.

Значитъ все это было лишь ложной тревогой! У-уф-фъ! Какъ легко, какъ спокойно сразу стало на душѣ!

Въ комнатѣ Ильи Семеновича свѣтло и уютно. Большой портретъ старушки-матери въ углу. Веселый и любовный свѣтъ лампы надъ абажуромъ. Такимъ милымъ кажется Никита, очутившійся тоже здѣсь. Такъ привѣтливо и радушно угощаетъ горячимъ чаемъ хозяинъ! Кутаясь въ платокъ, усаживаюсь на кровать. Живые струйки пробѣгаютъ по тѣлу, хочется не то плакать, не то смѣяться.

Самоваръ кипитъ на всѣхъ парахъ.

— Вотъ вамъ мой сказъ, — заключаетъ наше продолжительное совѣщеніе Никита. Онъ за послѣднее время замѣтно осунулся, — тоже, видно, изрядно надорвалъ свое здоровье.—Вотъ вамъ мой сказъ. Поѣзжайте завтра же въ Питеръ, и переверните тамъ всѣ низы и верхи, и рай и адъ. Пусть комитетъ дастъ людей на подмогу. Невозможно больше намъ однимъ управляться. «Не уѣду, моль, пока не дадите!» И денегъ вотъ тоже, и литературы. Вѣдь по-дадите!—то да се имъ, виши ли, на дорогѣ выросло. Эхма!

— Сами мы, видно, плохи, Никита, коли привлечь не умѣемъ.

— Ну, да ладно. Поспите пока. А мы съ Ильей ко мнѣ пойдемъ. Только завтра ввечеру, непремѣнно здѣсь будьте. Здѣсь же у Ильи и встрѣтимся. Счастливо съѣздить!

Приди въ эту ночь на самомъ дѣлѣ полиція съ обыскомъ,—не добудились бы меня.

ГЛАВА XIX.

Призваніе варяговъ.

Рано утромъ бѣгу на пароходъ. Снова чувствуется прежний подъемъ духа и забывается, что мы висимъ на волоскѣ.

«...И я не знаю, отчего я въ такомъ веселомъ духѣ, и мы смеемся и щутимъ, какъ точно не на смерть мы приговорены...»—вспоминается поразившее меня письмо одного солдата «смертника» наканунѣ казни.

И еще вспоминаются стихи Оскара Уайльда объ осужденномъ: его душа, уже прикоснувшаяся къ вѣчности, глотаетъ каждый оставшійся мигъ жизни напряженно, страстно:

И жадно пиль онъ воздухъ,
Какъ сладкое вино...

Высшее страданіе и высшая радость — не есть ли одинаково дѣти великаго?

Наши переживанія тоже особенные. Слова: восторгъ, восхищеніе, энтузіазмъ — ничего о немъ не говорятъ. Нѣтъ, это не восторгъ, а какая-то особая радость жизни, не та бурная радость, что пышетъ и бѣть въ глаза, а внутренняя, спокойная, усугубленная страсть, которая объемлетъ всего человѣка, радость интенсивныхъ переживаній, граничащихъ съ творческимъ состояніемъ.

Точно у вратъ града взыскуемаго стоишь, и замираетъ сердце въ ожиданіи предстоящаго тамъ, за вратами, гдѣ все залито сверкающимъ свѣтомъ, гдѣ ликованіе и небесная мелодія.

Когда великое коснется крыломъ своимъ души человѣка, пусть это будетъ душа самая заурядная,— она встрепенется преображенной и забывается въ страстномъ стремлѣніи вырваться изъ оковъ обыденщины. Какимъ хорошимъ, какимъ счастливымъ дѣлаетъ это переживаніе человѣка! У людей искусства и науки такое состояніе называется вдохновеніемъ и проявляется въ созиданіи великихъ твореній. Пусть у насть, обычновенныхъ людей, наше вдохновеніе не оставляетъ за собой видимаго, осознательного слѣда. Но кто уитетъ то незримое, что такія состоянія даютъ душѣ пережившаго ихъ?...

Въ 8 часовъ я уже въ Питерѣ. Опять бѣготня, опять замелькали квартиры бѣдныя и богатыя, ораторы, организаторы, рабочіе, ихъ жены, безработные...

— Ишь вы, какая прыткая! — солидно цѣдитъ мнѣ разсудительный рабочій: — вынь да положь ей женщину! Черезъ недѣльку, черезъ двѣ, можетъ и подышемъ.

Невскій. Помѣщеніе Трудовой Группы. Лапти, сермяги, пиджаки, сюртуки,— все перемѣшалось. Атмосфера дѣлоподѣлъ, нервная, напряженная, почти судорожная. Тутъ и депутаты, тутъ и ходоки, усталые, измученные, прямо, видно, съ дороги, тутъ и мѣстные столичные жители.

Высокій мужикъ, лѣтъ подъ пятьдесятъ, говоритъ собравшимся вокругъ него ходокамъ о жалкомъ положеніи безвластной Думы:

— И про что только она ни заикнется, ей отвѣчаютъ: «Не суйся!» Знай-де сверчокъ свой шестокъ! Какъ послѣдняго парнишку, пинаютъ барскимъ сапогомъ. А мальчишка, — известное дѣло, деревенскій, неразумный, — не униается. Нѣту у него силенки, чтобы въ рукопашную схватиться съ обидчикомъ, а уgomониться тоже не хочетъ. Дѣла не дѣлаетъ, а шуму, крику — Боже мой! И пишитъ, и извивается, и руку барину укусить пытается, и ореть благимъ матомъ. Духа-то этого въ ёмъ нѣтъ вольного, рабство его заѣло, вотъ и сказывается...

У оратора густыя насупившіяся брови, пронзительные и глубоко, какъ въ норѣ, сидящіе глазки, худощавое, бурое отъ загара лицо, большая, жесткая борода, спутанные длинные кудлы на лбу.

— Да-а, — закончилъ онъ, усмѣхаясь: — Хвалю сивку за обычай: хоть не везетъ — да ржетъ!

Къ кучкѣ подходитъ одинъ изъ лидеровъ трудовиковъ. Мужикъ повертывается къ нему:

— Сказали вы министрамъ, что не считаете ихъ за правительство?

— Сказали! — отрубаетъ тотъ.

— Заявили имъ, что разъ они супротивъ народа пошли, вы никакого съ ними дѣла не желаете имѣть?

— Заявили. Ну?

— То-то и оно! Не давши слова, — крѣпись, а давши, — держись; и взялся за гужъ — не говори, что не дюжъ! Сказали вы имъ все. А какъ же опосля всего этого вы же разрѣшаете министрамъ вѣшателямъ деньги, чтобы голодающихъ кормить? Изъ трупныхъ рукъ хотите хлѣбъ давать?

Трудовикъ передвинулъ ноги, поправился не торопясь на мѣстѣ, поднялъ опущенную голову, оглядѣлъ всѣхъ.

Это одинъ изъ немногихъ народныхъ избранниковъ, сразу завоевавшій симпатіи всей страны своими выступлениями въ Думѣ. Его твердый голосъ громко раздается въ думскомъ залѣ, заставляя содрогаться сердца слушателей. Онъ кричитъ министрамъ: «Мы — или вы! Вонъ, убийцы! Не вамъ здѣсь мѣсто!» — что-то въ этомъ родѣ кричитъ, и министры, уводя голову въ плечи, поспѣшно исчезаютъ изъ своихъ ложъ. И несется его крикъ далеко за стѣны

Таврическаго дворца, будя нетерпѣливое негодованіе, возмущеніе и жажду дѣйствія въ многихъ миллионахъ сердецъ.

А вотъ тутъ этотъ трибунъ стоитъ подъ огнемъ замѣчаній и нападокъ, вслушивается въ нихъ, — и молчитъ, выставивъ впередъ широкій шишковатый лобъ. Смотритъ изподлобья, какъ быкъ на бойнѣ, ждущій удара.

Упорной силой вѣтъ отъ этого человѣка. Онъ изъ крестьянъ, самъ пробилъ себѣ дорогу въ жизни, получилъ образованіе. Казалось бы, такимъ людямъ и книги въ руки.

Но глубокая морщина залегла у него между бровей, напряженная, мучительная дума чуетъся въ его глазахъ. Словно богатырь, остановившійся передъ тремя роковыми разстанными дорогами.

— Почему вы клялись, когда шли въ думу, — наступаетъ на него какой-то человѣкъ въ вышитой рубахѣ: — Умремъ, — а землю добудемъ! Уже мѣсяцъ скоро Думъ, земли все нѣтъ, да видно и не будетъ, а вы все живы?

— А оружіе у васъ есть? — вдругъ рѣзко оборачивается къ нему депутатъ.

Тотъ смотритъ недоумѣнно.

— Нѣтъ, вы скажите: оружіе у васъ есть? Вѣдь нѣту? Ну, вотъ то-то же! Вы-то готовы ли въ бой? Готовъ ли народъ? Сумѣете ли вы вооружить его и повести на борьбу, коли мы призовемъ его къ рѣшительному шагу?

— Въ народъ что ли не вѣрите, маловѣры? — вставляетъ строгого мужикъ-оратора.

— Знаю, знаю! — замахаѣть рукою трудовикъ. Порывшись немного, онъ вытаскиваетъ изъ бокового кармана цѣлую пачку телеграммъ. — Ежедневно засыпаютъ насы ими, со всѣхъ концовъ приходятъ: боритесь, дескатъ, мы поддер-жимъ васъ въ трудной борьбѣ. А только... какъ съ голыми руками противъ арміи воевать? Вотъ и въ газетѣ вашей, эсэровской, сегодня: «За Горемыкинымъ стоитъ Треповъ, полки солдатъ, казаки, пушки, пулеметы, толстая стѣна невѣжества, злобы и грубой силы. За Думой — только народное горе и народная воля. Но народная воля не выковала еще народнаго мѣча».

— Онъ здѣся, господинъ депутатъ! — Онъ... вотъ онъ! — даже не выкрикиваетъ, а какъ-то весь взрывается малень-кій неуклюжій солдатикъ. Онъ страшно волнуется и торопится, и говоритъ, и возится со штыкомъ, и, видимо благо-говѣя передъ трудовикомъ, боится быть непонятнымъ, неуслышаннымъ.

— Вѣдь вотъ онъ! — онъ вытащилъ наконецъ штыкъ и неловко помахиваетъ имъ: — онъ вѣдь у насъ... А мы... да рази не... да неужто свой своего выдастъ!...

Весь возбужденный, вспотѣвшій, онъ пожираетъ гла-зами трудовика. А тотъ не торопясь перевѣль на него

свой упорный, бычій взглядъ и долго смотритъ испытывающе на его восторженно блестящіе глаза.

— Вашими бы устами да медъ пить! — говорить онъ нако-нецъ: — только все же «отъ чаши до усть еще далеко!»...

Меня отзывали по дѣлу. Возвратясь, слышу въ той же кучкѣ ужъ иной разговоръ:

— Оно конечно, армія задвигается, — народъ смѣлѣе станетъ. Вотъ недавно видѣлъ я офицеровъ кронштадт-скихъ, изъ моряковъ, молодые еще. Показываютъ камушки: — «Съ мостовой, — говорятъ, — подняли; по нимъ, — гово-рятъ, — народные избранники шли. Какъ святыню сохранимъ ихъ. Мы, — говорятъ, — можетъ, эти самые камни кровью народной должны были бы полить, а теперь... Счастливѣй-ший, — говорятъ, — это день нашей жизни». У одного даже слезы на глазахъ.

Кто же правъ? Скептикъ трудовикъ или же эти офи-циеры съ камушками и этотъ восторженный солдатикъ? Путанное время, трудное. Такое трудное, что голова отъ думъ на части разрывается.

Я въ редакціи эсэровской газеты, которая съ откры-тиемъ Думы выходитъ легально. Еле пробираюсь сквозь густую толпу корреспондентовъ, рабочихъ, пропаганди-стовъ, ораторовъ. Въ самой послѣдней комнатѣ явка Центрального Комитета. Меня принимаетъ уже немолодой человѣкъ, товарищъ Зеленовъ, сухой, аккуратный, не осо-бенно щедрый на слова. Волнуясь, рассказываю ему про настроеніе въ Кронштадтѣ. «Вотъ этотъ, — думаю въ это же время, — подошелъ бы къ намъ: лицо не очень выра-зительное, не выдѣлялся бы среди другихъ, и голова бри-тая, въ формѣ великолѣпно сошелъ бы за солдата».

— Матеріаль богатый, а работниковъ нѣтъ... Мы еле держимся. Скорѣй замѣстителей надо найти... Иначе все прахомъ пойдетъ...

Чувствую, что говорю не то, что надо, бездоказа-тельно, обрывочно, и въ отчаяніи добавляю:

— Дайте намъ большого человѣка. Неужели наша партія такъ слаба? Или близорука?

Нѣтъ, я не умѣю убѣждать, заражать тѣмъ, что сама чувствую.

— Если вы думаете, что мы преувеличиваемъ, пріѣз-жайте сами, посмотрите, убѣдитесь...

Зеленова отзывали. Я жду, наблюдая. Какъ нигдѣ, чувствуется здѣсь біеніе пульса партійной жизни, и мѣст-ной и центральной, нервный, почти бѣщеный темпъ ея. То и дѣло трещитъ телефонъ. То и дѣло приходятъ все новыя и новыя люди съ сообщеніями или за указаніями. Во всѣхъ углахъ съ ними ведутся въ полголоса короткія совѣщанія.

Сюда же прибѣгаеть съ корректурами изъ типографіи, что внизу, весь выпачканный рабочій.

Всѣ бѣгаютъ, всѣ чѣмъ-то заняты. Почему же всѣмъ, чѣмъ угодно, но только не Кронштадтомъ?

— Хорошо, хорошо!—говорить мнѣ освободившійся наконецъ Зеленовъ:—я уже слышалъ о Кронштадтѣ... Я сейчасъ,—кидаетъ онъ старику съ проницательнымъ взглядомъ поверхъ очковъ, подошедшему отъ кучки людей, что съ самаго начала ведутъ тихій разговоръ, промостившись въ неудобныхъ позахъ у окна. И снова ко мнѣ:

— Слышалъ, да... Вамъ что, Петровъ? О военныхъ бунтахъ замѣтка? Подождите немного. Что? Редакторъ не ждетъ? Ну, ладно!

И тутъ же, посреди комнаты, даже не присаживаясь, онъ просматриваетъ рукопись. Петровъ уходитъ.

— Отъ редактора вернитесь, Петровъ! У меня къ вамъ дѣло!—кричитъ ему въ догонку Зеленовъ.

— Да, да!—поворотъ въ мою сторону,—сегодня же снова подымаемъ о васъ вопросъ въ Ц. К.

— Когда же вы наконецъ освободитесь, Павель Семеновичъ? Мы васъ ждемъ!—снова подходитъ съ озабоченнымъ видомъ старики въ очкахъ:—Тамъ делегатъ пріѣхалъ, хотѣть видѣть васъ по военнымъ дѣламъ.

— Иду, иду! Минутку, одну, минутку!... Вы видите, какая здѣсь кутерьма!—словно извиняется онъ передо мною:—Я къ вамъ пріѣду...

Въ комнату вѣбѣгаеть Волгинъ, военный работникъ изъ Колпина. Блуждающимъ взоромъ онъ оглядывается, и прямо къ Зеленову:

— Въ Колпинѣ неспокойно... сегодня ночью рѣшено возстаніе...

— Что? Что такое?

У Волгина лицо заострившееся, все подергивается мелкой дрожью. Сѣрая рубашка смокла отъ пота, который темными пятнами проступаетъ на спинѣ. Голосъ обрывается.

— Пироксилинъ уже подложили подъ офицерское собраніе...

— Да въ чемъ дѣло?

Быстрыми, отрывочными фразами тотъ разсказываетъ, какъ солдатъ, вернувшихся съ войны и безъ того уже изнервничавшихся, начальство довело разными придирками до крайней взвинченности, до рѣшительного шага.

— Всѣ мои уговоры не помогли. Единственная надежда на авторитетъ Ц. К.

Зеленовъ совѣщается съ тѣми, что засѣдаютъ у окна. Волгинъ нервно ходитъ по комнатѣ, ероша волосы, такой взлохмаченный и мокрый, что жалость смотрѣть. Подхожу къ нему.

— Вы бы хоть пригладились немнога, а то обращаете на себя вниманіе!

— А? Что?—словно проснувшись, разсѣянно бормочетъ онъ:—Да, здравствуйте, здравствуйте!

Но я вижу ясно, что онъ ни чего не понимаетъ, можетъ быть, даже не сразу узнать меня, занятый своими думами:

— Да, да, не правда ли, вѣдь ваши поддержать въ случаѣ чего? у нашихъ вѣдь широкій планъ: сейчасъ же ити въ Питеръ, поднять матросовъ и Петропавловку, вооружить рабочихъ, занять арсеналъ и Охтенскіе пороховые заводы...

Онъ нервно потираетъ руки, то и дѣло взглядывая въ сторону цекистовъ. Его подзываютъ туда. Потомъ въ комнату приводятъ какого-то очень высокаго человѣка, на-спѣхъ что-то ему объясняютъ. Высокій беретъ Волгина подъ руку, и оба быстро, забывъ даже проститься, исчезаютъ изъ комнаты.

Начинается... Вотъ оно, [невѣдомое... Идетъ... надвигается...

— Ну, а мнѣ что же скажите?

— Ахъ, да!—спохватывается Зеленовъ,—во-первыхъ, я на днѣхъ буду у васъ,—роется въ записной книжкѣ,—въ пятницу можно?

— Когда угодно!

— Итакъ, въ пятницу, въ четыре. А ваши пусть не волнуются. На примѣтѣ есть для васъ подходящій человѣкъ. Надѣйтесь. Да, дѣла-а! До свиданья!

Наконецъ я на пароходѣ. Спускаюсь, какъ всегда, въ третій классъ, сажусь въ темный уголъ. Закрываю глаза. Мѣрно укачиваетъ пароходъ, все слабѣе доносится говоръ, точно жужжанье мухъ издали...

Просыпаюсь отъ какого-то крика. Протираю глаза: подрались двое пьяныхъ. А кругомъ шмыгаютъ лакеи съ чарками, рюмками, бутылками; изъ публики кто спить, кто мирно бесѣдуетъ, относясь къ дракѣ, какъ къестественному. Тускло и грязно горятъ лампочки. Тѣсно и жарко. Отъ вымокшихъ на дождѣ одеждъ въ воздухѣ стоитъ густой паръ, какъ въ банѣ.

Но я просыпаюсь бодрая и освѣженная. Горячее тепло проникаетъ не только во всѣ частицы тѣла, давая ему столь желанный отдыхъ, но какъ будто даже въ самую глубь души. Вѣрится, что Колпино не возстанетъ преждевременно, что къ намъ пріѣдетъ членъ Ц. К. и обѣщанный работникъ,—можетъ-быть,—нужный намъ «большой человѣкъ», что будетъ хорошая квартирная хозяйка... Вообще вѣрится въ одно лишь хорошее...

На плечѣ у меня похрапываетъ какая-то старушка. Густая сѣть морщинъ покрываетъ ея лицо, безкровныя губы что-то шепчутъ во снѣ, и вся она, словно маленький безсильный ребенокъ, такая тощенская, безтѣлесная; и запахъ отъ нея такой пріятный, съ дѣтства знакомый-запахъ высохшаго старенькаго тѣла, и кожа на лицѣ мягонькая, шелковистая.

А дождь за стѣнкой все стучитъ, стучитъ монотоннымъ, долбящимъ звуковъ, навѣвая дремоту. Въ одномъ углу широкихъ наръ спать раскидавшись ребятишки. Мать кормить грудью меньшого. Въ другомъ углу плачутъ проснувшіяся дѣти. Взрослые храпятъ, зѣваютъ, потягиваюсь и крестясь. Подвыпившия матросы за столомъ о чѣмъ-то шумно бесѣдуютъ. Забившись въ самый уголъ, ближе къ дѣтямъ, матросъ водить пальцемъ по книгѣ, бормоча вслухъ:

«Человѣкъ немыслящій не понимаетъ, невѣждѣ не разумѣеть того, что, когда цвѣтутъ нечестивые, какъ трава, и растутъ всѣ творящіе зло, то это на ихъ же погибель вѣковѣчную. Ты же, Господи, вѣчно возвышенъ. Ибо вотъ враги твои, Господи, вотъ враги твои пропадаютъ, всѣ дѣлающіе беззаконія расточаются, а мой рогъ ты возносишь, какъ рогъ буйвола: я пропитанъ свѣжимъ елеемъ...»

— . . . Праведный цвѣтетъ, какъ пальма, возрастаєтъ, какъ кедръ на Ливанѣ: они посажены, какъ въ домѣ Господнемъ, будутъ цвѣсти во дворахъ Бога нашего, будутъ еще расти и въ сѣдинѣ, будутъ тучны и зелены, дабы возвѣщать, что прямъ Господь, оплотъ мой, и нѣтъ въ немъ неправды...»

А мѣрная рѣчъ юдущихъ артелью рабочихъ—земляковъ тянется подъ шумъ колеса и окружающей гомонъ длинно и монотонно, какъ степная дорога, уходящая въ безконечность.

Довѣрчиво и тѣсно окружаетъ меня этотъ разношерстный, собранный со всей Россіи людъ. Я смотрю на всѣхъ своихъ спутниковъ, и въ душѣ ворошится не то мысль, не то ощущеніе: вѣдь вотъ, это—часть огромнаго народа, того народа, который даетъ содержаніе и цѣль моей жизни, даетъ мнѣ силу работать, даетъ радость борьбы; благодаря ему я живу такъ ярко, такъ полно. О, если бы знали вы, братья, о будущемъ вашемъ, о близкомъ свѣтломъ будущемъ вашемъ!

